ВЛАДИМИР КОРАБЛИНОВ

Воронежские повести

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«… И как же тут снова не сказать об озарениях.

Многое множество накоплено в памяти странных мимолетностей, которые со мной навечно. И добро бы что высокое, героическое или ослепительно прекрасное, – нет! Вот Яша, например, с его уютным хозяйством. Вот стожок под снегом и красные снегири на ветках, как райские яблочки.

Вот – шевелящийся свет от фонаря на потолке.

Черный колодезь и сверток со стихами.

Мужичище в маньчжурской папахе.

Театральный занавес, подсвеченный снизу, и деревянный стук разбитого пианино.

Нерусский черт с дирижерской палочкой. <…>

Сколько их, этих отзвуков, этих озарений!

Они возникают непроизвольно, в безбрежье памяти появляются вдруг, как Азорские острова в океане. И не в связи с чем-то, и вовсе не всегда кстати, но всегда стихийно и радостно.

И я буду проплывать мимо этих островов памяти, не спеша, пристально вглядываясь в их причудливые очертания, дополняя воображением то, что иной раз окажется скрытым в глубине заросших лесами и травами берегов. …»

- Владимир Александрович Кораблинов
- notes
  - 1
  - 2

Владимир Александрович Кораблинов
Азорские острова

Углянец…

Удивительно слово, его богатство и могущество. Произнесенное, оно не только обозначит сам предмет или какое-то действие, но и повлечет за собою множество вдруг воображенных картин, в которых возникнут уже иные предметы и иные действия. Скажите: ВЕСНА – и хлынут с гор потоки, и милая весенняя синичка затренькает, зазвенит весело, и первый зеленый стебелек раннего цветка просунется сквозь сопревший прошлогодний лист… И вот тоненький серебряный серпик встанет над сквозной чащей углянских садов, окутанных голубовато-серым дымом деревенских угольниц…

Но что это – Углянец?

Воронежской губернии и уезда, Орловской волости, небольшое, в полтораста дворов, село. Оно в пору моего детства упиралось в лес, врастая в густой осинник казенного Усманского бора. За широким зеленым выгоном, за Кряжовой усадьбой, за старой часовней над святым колодцем.

Эта старая часовня упомянута в одном из документов адмиралтейства петровских времен: «А лес же, – говорилось в указе, – возить на корабельное строение по углянской дороге, мимо старой часовни».

В конце семнадцатого века часовня, оказывается, была *старая.*

Русская древность слышится в самом слове Углянец. В отличие от названий таких окрестных сел, как Усмань, Хава, Карачун, татарщина не коснулась его имени. О том, почему так названо село, голову ломать не приходится: некогда в лесной чащобе поселились углежоги, *угляники,* и стали жечь уголь. Еще на моей памяти (как, впрочем, и многих воронежских стариков) по городу ездили чумазые мужики и кричали осипшими голосами:

– Уголь-ё-ов! Уголь-ё-ов!

Отменный, звенящий дубовый уголь развозили в плетеных коробах. Все самовары города Воронежа закипали на углянских угольках.

Но когда на лесистых воронежских берегах без малого

четыреста лет назад возводили крепостные стены города, – в кузнечных горнах чей уголь пылал? А на великом корабельном строении царя Петра? Не углянский ли?

Для меня же в Углянце главное то, что он – моя родина. Мой отчий дом. Что именно в этом селе жили учители мои великие, научившие меня русскому языку. Кто как не углянские мужики, – да хоть бы Степана Потапыча взять, с которым бывал я неразлучен и который с бесконечными вариантами рассказывал мне одну и ту же потешную сказку о барине, купце и попе, мужиком одураченных; или Марью Семеновну, черничку, на один глаз косую старую деву, усердную чтицу псалтырей над покойниками, неутомимую выдумщицу историй самых расчудесных и страшных, – кто как не они указали чистый, как слезка, родничок поэзии, скрытую в чаще копанку с живой водою, где плавал берестяной ковшик, – бери, дитя, пей!

И вот всю жизнь пью из дивного источника, и не оскудевает он, и что бы я делал, чем была бы моя жизнь, если б не эта потаенная копанка!

Мне, пятилетнему, рассказывает Марья Семеновна:

– А ты спи, Володюшка, спи… Хорошо тут у нас с тобой, постелька теплая, мяконькая, да тихо-то как! Сверкун лишь сверчит, ну, да ему только делов-то… А там, наружи, – господи милосливый! – ночь, да сивер, да лес темный…

И верно, у нас прямо за огородом лесок шумел дубовый, мы туда ходили грибы искать. Его вскоре вырубили, на этом месте как-то вдруг выстроилась целая улица; ее прозвали Челябиной. Из-за того, верно, что далеко, на отшибе от села выросла, и какая-то была тут связь с городом Челябинском, который как бы на краю света представлялся воображению, бог знает в какой дали. В те времена, когда по воздуху еще не научились летать, расстояния были во много раз больше, чем сейчас.

Первый житель челябинский был крохотного росту мужичок Иван Константиныч, по прозвищу деревенскому Плитуварчик. Что за странная кличка? Да вот, рассказывали, будто еще молодым, неженатым, торгуя в городе угольком, на тротуар наехал со своим грязным коробом, и будто бы городовой с него полтину штрафу стребовал за бесчинство. После, вернувшись в село, каждому встречному жалился Иван на свою беду – как, мол, зазевался, недоглядел за кобылой, с коробом вперся на *плитувар*. И вот уже сколько времени прошло, сынов нарожал, из молодого сделался сивым, а кличка Плитувар так и прилепилась. А как росточком не вышел, то из Плитувара скоро перекрестили его *Плитуварчиком*. В деревне эти уличные прозвища враз припечатывались, и

навечно.

– …лес темный, – журчит Марья Семеновна. – Там, детка, ох, и страшно же…

– Волки, медведи, – вежливо поддерживаю Марьюшкино бормотание, помогаю ей, потому что вижу – вот-вот уснет. – Волки, медведи… еще лешаки…

Я эти ее причитанья все наперед знаю, не впервой этак бормочем перед сном. И страхи не очень-то страшные, ведь они выдуманы: какие у нас медведи, какие лешаки!

Но однажды рассказала про дикую бабу-великаншу. Будто бы давно, когда еще железную дорогу строили, поймали в лесу такое диво: в чем мать родила, простоволоса, вся волчьей шерстью обросла, об одной ноге, другая – деревянная, липовая… Вот ее гоняли, вот гоняли! Семь ден мучились, пока в Моховом болоте клюкой не завязла. Тут-то дивную бабу и повалили, железными опутали путами да и отправили в город Санкт-Петербург, в балаганы.

Я спросил:

– А как?

– На две платформы погрузили, такая, бог с ней, была огромадная!

Эта дивная баба меня поразила. Особенно ее ноги: одна настоящая, другая деревянная.

В деревяшке было что-то зловещее.

История с великаншей, конечно, была выдумка, вздор. Такая же сказка, что и леший, Кащей или семиглавый Горыныч. Все эти сказочные чудеса обитали за чертой нашей жизни, за порогом нашего дома, за околицей села, – нигде, в мире неведомом, не нашем. Они были необыкновенно интересны, но неосязаемы, бесплотны, и я их нисколько не боялся. А вот жил у нас в Углянце один старик, ему поездом ногу отрезало, и он сам смастерил себе новую, деревянную, на ременных пристежках. Я, таким образом, знал, что такое деревянная клюка вместо живой ноги, и знакомая клюка эта превращала сказочную бабу в живую, подлинную, нашу, углянскую.

Страшно невыдуманное.

Ночь одну помню: жаркое лето, тьма, духота. Меня разбудил крик – протяжный, тоскливый. Нет, лучше сказать, не крик, а вопль, как-то странно, разом оборвавшийся в тишине.

Я вскочил, прислушался: все спали. Мама делала губами: п-ф-ф… п-ф-ф… Отец похрапывал. Я хотел вскрикнуть, позвать, но вместо крика шепотом просипел:

– Мама! Ма-а-ма…

Она проснулась, ощупала меня.

– Ну, что ты, детка? Ну, что?..

И тут вопль повторился, и показалось, что совсем рядом, близко – в саду, за сараями.

– Что это? – я еле выговорил, меня всего дрожь колотила.

– Сыч, – сонно сказал мама. – Спи, Христос с тобой…

И опять задышала: п-ф-ф… п-ф-ф…

Все спали, а я стал думать о сычах.

У нас в Углянце их было два. Один жил на колокольне, невидимый; другой катался в автомобиле марки «пежо», подымал, булгачил всех деревенских собак, и те неслись следом, с остервенением кидаясь на сверкающие колесные спицы. Первый был лупоглазой ночной птицей, второй – махорочным фабрикантом, миллионером по фамилии Сычев. Наши сельские в глаза звали его Василь Матвев, а за глаза кратко: Сыч.

Автомобили тогда были в редкость, их побаивались. Мчался Сыч по селу, гудя в трехголосый рожок, лошади шарахались, трещали оглобли, мужики матерились вдогонку.

Внешность его потом, после революции, смешно и удивительно точно отразилась в плакатах и карикатурах на буржуев. Он со всех стен глядел – вислые щеки, глазки-щелки свиные, ничтожный носик затерялся в мясной, говяжьей красноте лица. А пока я размышлял впотьмах, вдруг брякнуло во дворе железо и словно бы лошадь всхрапнула. Затем враз залились собаки, кинулись куда-то, но скоро затихли. Все затихло, и я уснул.

А утром оказалось – лошадей увели.

Потапыч в амбаре спал, возле конюшни, его там ломиком приперли. Он тоже сычиные крики слышал.

– Это они знак подавали, – сказал Потапыч.

«Они» – то есть конокрады, воры.

Я слышал протяжный крик и как брякнуло железо, – ломали замок, – а утром увидел тот ломик, каким приперли Потапыча. Это все было вещественно, все на самом деле, не выдумано.

И потому страшно.

На книжном шкафу стоял гипсовый Гоголь.

Когда-то кипенно-белый, с годами он пылился, темнел, и я помню его уже серовато-желтого, очень приятного цвета.

Еще там наверху, рядом с Гоголем, хранилась прелестная полированная шкатулка с блестящими медными крючками-замочками и с двумя дырочками сбоку. Это была электрическая машинка, которой лечили мою младшую сестренку Зину: у нее, еще у годовалой, отнялись ноги. Ее много возили по докторам, и

кто-то из них назначил леченье электричеством. Машинка противно жужжала, сухо потрескивала; мне казалось, что Зине делают больно, и я убегал подальше. Я очень любил Зину, она была рыженькая, черноглазая.

И вдруг почему-то умерла трехлетней. А ненужную машинку поставили на шкаф рядом с Гоголем.

В шкафу было множество книг самых разных, от напечатанных в синодальной типографии «Творений святого Тихона Задонского» до «Ключей счастья» и «Петербургских трущоб». Толстенная «Библия в картинах». Бог весть каким ветром занесенное «Откровение в грозе и буре» Николая Морозова. «Потешные анекдоты про шута Балакирева» и, наконец, карамзинская «История государства Российского» с гравюрными изображениями древних князей и государей «всея великия, малыя и белыя». В островерхих царских шапках, тощие, злые, крючконосые, они казались удивительно похожими друг на друга. Да к тому же еще у всех в правой руке был шарик – держава, а в левой – прехорошенькая палочка – скипетр.

Отец благоговел перед скучными карамзинскими книгами, а я их терпеть не мог. Один вид рыжих переплетов наводил отвращение и скуку. Они и пахли как-то уныло.

– Это, брат, Россия! – каким-то ненатуральным голосом говорил отец. – Рос-си-я!

И даже, кажется, значительно воздевал указательный палец.

Но я никак не мог понять, почему именно все эти уродливые, бородатые старики в смешных колпаках – Россия. Почему – они, а не Потапыч или, допустим, та же Марья Семеновна, или хотя бы первый челябинский житель Иван Константиныч, по прозвищу Плитуварчик.

Но что же все-таки Россия? С каким образом связалось раннее понятие о ней четырехлетнего человека?

Он увидел ее на заглавном листе журнала «Нива».

Девица-раскрасавица со взглядом долгим и ласковым, она была в каком-то причудливом венчике вроде кокошника, со звездой во лбу, с ниспадающим кисейным покрывалом, из-под которого сыпались наземь листочки с надписями: «история», «естествознание», «биографии», «романы», «повести», «рукоделие»… Она и в руках держала такие же листочки, а вокруг на жестких стрекозиных крылышках летали голые толстомясые мальчишки, и тоже с листочками. За всей этой кутерьмой виднелся известный памятник Пушкину; и какие-то узорчатые кувшины, блюда, плошки бог весть зачем были накиданы у ног девицы; а в самой середине россыпи посудной красовался

рогатый предмет, в нашем деревенском обиходе совершенно незнакомый. Мальчик спросил, конечно: что это? И ему ответили: музыка, называется – лира. Он и про щекастых крылатых мальчишек спросил, и про блюда, и про кувшины. Терпеливо и ласково, с уважением к его любознательности, рассказали обо всем, что было тайным смыслом чудной картинки – о сказочном богатстве недр России, о ее гениях художества и науки.

Но, наверно, все-таки не под силу оказалось несмышленышу уразуметь подобные взрослые премудрости, и, конечно, он их не уразумел. Он просто вежливо промолчал – пусть богатство, пусть гении… Но об одном, о главном, сам догадался: девица-раскрасавица была Россия!

Россия…

И мальчик влюбился в нее…

Зеленоватая мраморная бумага переплета была словно пучина морская, в бездне которой таилось чудо.

Поверите ли? Открывал крышку толстого тома «Нивы» с робостью влюбленного, с замиранием сердца. *Она* ждала его на первой странице. Встречала долгим взглядом синих, как ему казалось, глаз. И он, смущенный и счастливый, глядел и не мог наглядеться, – так необыкновенно прекрасно было в ней все: нежные руки, взгляд, жемчужное ожерелье. Ради нее он мог сделать самое отчаянное, самое невозможное. Сразиться с драконом, например. Или, ударившись оземь, обернуться добрым молодцем и тогда… что тогда? Ах, да откуда ж ему знать… Но что-то такое, в предвкушении чего было и сладко и страшно.

Как-то раз его застали врасплох: ничего не слыша, не замечая, сидел недвижимо, упершись глазами в картинку. Его окликнули:

– Ты что – заснул?

Он очнулся, почему-то покраснел. Почему-то вдруг стыдно сделалось, и, словно оправдываясь, забормотал смущенно:

– Да вот тут… ангелочки, какие красивенькие…

Первый раз в своей жизни слукавил. Он ненавидел этих толстых летающих мальчишек.

У многих, очень у многих чувство Родины начинается с картинки в букваре.

Извилистая речушка, например, вербы, лодочка с рыбаком, заросшие камышом берега.

А может быть, – высоко летит косяк журавлиный, и деревенские ребятишки на пригорке смотрят вслед.

Или кремлевские башни. Москва, Царь-колокол.

Наконец, чего уж проще и знакомее: снегом осыпанные сосенки, стожок и вдалеке – избушка, дым из трубы, сорока на плетне…

«Вот моя деревня, вот мой дом родной…»

Не отсюда ли, от этого стожка, от косяка журавлиного и начинается путь жизни русского человека – незаметный, не шумный, скромный, однажды вдруг приводящий к бессмертному подвигу? (Впоследствии, вспоминая героя, будут удивляться: «Кто бы мог подумать!»)

И не последней ли вспышкой в памяти умирающего будет: стожок под снегом, сосенки, ниточка дыма над крышей родимой избенки?..

Еще обитал в нашем семействе альбом с пожелтевшими фотографиями незнакомых мне господ в железных стоячих воротничках, в пиджаках старинного покроя, застегнутых наглухо, до самой шеи. Усатые, с вытаращенными остекленелыми глазами, они точно так же, как и великие князья и государи из карамзинской «Истории», наводили уныние и скуку.

Это были товарищи папиной юности, воронежские семинаристы. При окончании курса, еще в восьмидесятых годах, как запечатлелись в известном фотографическом заведении Селиверстова, так и залегли на веки вечные в нашем альбоме. И суждено им будет лежать в нем, пока не уничтожат его великие пожары страшного лета тысяча девятьсот сорок второго, когда и от самого Воронежа останутся лишь одни стены – черные, обугленные…

Среди оравы усатых семинаристов скромно и как бы немного робея ютились совсем уж древние, бледные, выцветшие карточки двух старушек – полубабушки и тетеньки Юлии Николавны. О первой рассказывались истории самые удивительные. Росточком всего в аршин (ее потому-то так смешно и прозвали – полубабушка), а бесстрашия была редкостного: воевала с нечистой силой и на парусном корабле в бурю, в шторм совершила паломничество ко гробу господню.

О единоборстве с нечистой силой будет рассказано при случае, а что до Иерусалима, то в память об отважном путешествии у нас в доме хранились реликвии: пальмовый посох и порожний четырехгранный старый полуштоф, в котором привезена была в свое время святая иорданская водица. Предметы эти почитались в нашей семье, трогать их нам, детям, было запрещено. Но мне и в голову не приходило прикасаться к мутно-зеленому приземистому пузырьку, стоявшему на полочке под божницей, с меня довольно было лишь поглядеть на него, чтобы

вообразить ту удивительную даль, откуда привезла его полубабушка, вообразить горячие пески иорданских берегов или бурное море, фиолетовые стрелы грозных молний в разорванных небесах и парусный корабль, скачущий по белопенным гребням высоких, как горы, ревущих волн.

Но как не вязался облик полубабушки с ее деяниями! Очень хорошо помню бледную, тусклую фотографию, где сухонькая, похожая на вятскую глиняную куколку-потешку, сидит наша прародительница в темной шали, в старушечьем платочке, повязанном по-деревенски – старинно, рогато; поджала тонкие, в ниточку, бесцветные губы, и взгляд у нее безучастный, скучный… А ведь что видела, что испытала, отважная!

Тетенька же Юлия Николавна в чепце с рюшами, с лентами и тоже в шали, – та держится прямо, даже надменность какая-то в ее позитуре проглядывает. Однако, видно, старается не моргнуть перед диковинным ящиком, возле которого, укрывшись черной хламидой и раскорячась, колдует сам господин Селиверстов. От усилия глядеть не моргая и происходит, наверно, безучастная скучность взгляда, что делает схожими обеих старушек, пусть первая съежилась и робеет, а вторая расфуфырилась и важничает со своими рюшами и ленточками. Впрочем, что ж удивительного в их сходстве: ведь Юлия-то Николавна родной дочерью доводится полубабушке.

Она вырастила моего отца. Спасла годовалого, вырвав из рук безумца, бежавшего от тоски заключения в воронежском доме для умалишенных.

Странная, мрачная история более чем столетней давности с самого раннего детства тревожно живет в моем воображении. История деда Якова Петровича.

У нас, людей простых, не сановных, древо рода низкорослo, ничтожно. Его словно бродячая скотина обглодала – ни веток, ни листьев, один голый кол, прозвище, да хорошо, если два-три имени уцелели в семейных преданиях: дед, прадед. Редко дальше прадеда повествуют такие родословные.

Самой глубокой стариной в истории нашего семейства была крохотная полубабушка. Но ведь стыдно сказать, я даже имени ее не знаю.

А прадеда звали Петр Кораблинов. Бабушка моя по матери, Александра Васильевна Авсенева, говорила, что «учености он был непомерной».

– Да и все с вашей стороны, с кораблиновской, – скорбно вздыхала почему-то, – ужасти какие все были ученые…

В чем заключалась их ученость – сказать не могу. Вернее

всего, в начетничестве, в науках церковных, а может быть, в искусстве сочинять проповеди. На такую догадку наталкивает тетрадь семинариста Ивана Сребрянского, в которой чисто, каллиграфично сделана запись проповеди «протоиерея Иоанна Кораблинова, сказанная им в Смоленском кафедральном соборе». В каком году сказана, какого месяца и дня – в записи не упомянуто, но на внутренней стороне передней корочки тетрадного переплета читаем:

«1817 года
Сентября 26 дня
Проба пера!!!
Проба пера! Проба пера!
Иван Сребрянский».

И далее – с росчерком, с завитушками, все то же – Иван Сребрянский да Иван Сребрянский, бесчисленно.

Довольно объемистая, самодельно переплетенная, тетрадь эта в четвертку листа еще недавно, в пятидесятых годах, хранились в библиотеке воронежского краеведческого музея. Там ли она сейчас и цела ли – не знаю.

И еще один Кораблинов, Василий, достоверно существовал в самом начале прошлого века. Но о нем я узнал не из семенных преданий, а от Ю. Д. Гончарова.

В свое время Юрий Данилыч много работал в архивах, доискиваясь правды о предках Бунина. Случайно в судебных делах воронежской консистории ему попалось «дело» некоего Василия Кораблинова, деревенского дьячка, которому за его распутство и кабацкие подвиги грозило заключение в Толшевский монастырь. Был он, видно, человек веселый и деятельный, отбивать покаянные поклоны в глухом лесном монастыре показалось ему хуже погибели, и вот «1812 года, сентября 2-го, оный дьячок Кораблинов Василий, данным благочинному Понятовскому показанием, изъявил желание поверстаться в воинское ополчение».

В какой степени родства приходится он мне и что с ним сталось в его ратных трудах, сказать не могу, не знаю. Но этот непутевый гуляка мне по душе, и я рад, что он существовал.

Все в давно прошедшем времени, все в тумане.

И скорее на сказку похожи они, неведомые эти ученые начетчики и забулдыги бесшабашные. Даже крохотная моя прародительница полубабушка с ее путешествием ко гробу господню: даже тетенька Юлия Николавна со своим удивительным чепцом, лентами и рюшами. Все они как-то бестелесны, бездушны, я не чувствую своего с ними кровного

родства.

Но вот дедушка Яков Петрович…

Житие его было коротко. Едва ли и до тридцати-то дожил, а настрадался, бедный, за полный век.

Он умер, прикованный цепью к сырой и грязной стене темной каморки дома для умалишенных.

Не сумею сказать, отчего приключился у Якова Петровича этот ужасный недуг, – ранняя ли смерть любимой жены при родах была тому причиной или еще что – не знаю, не ведаю и врать не хочу, но только буйного, связанного, водворили однажды в сумасшедший дом, откуда он, пробыв там самое короткое время, ухитрился бежать.

Дело было ранней весной, в ледоход. На пути лежал широко разлившийся Дон, и как сумел Яков Петрович в полую воду перебраться по льдинам – одному богу известно. Но перебрался ведь, добрел до села и, никем не замеченный, вдруг заявился в своем доме.

Бабушка со слов Юлии Николаевы так рассказывала:

– Заполдни случилось. Юлечка в кухне телка поила. Она после, как Настенька преставилась, в Яков Петровичевом дому за хозяйку стала. Нуте, вдруг слышит – Сашенька вскрикнул да и зашелся прямо-таки… А тут —телок. Кое руки вытерла, кое то, кое другое, – бежит в горницу, а там – вот он, Яков-то! Выхватил младенца из люльки, да вот обнимает, вот к груди притиснул, аж тот и кричать перестал, посинел весь… Что ты будешь делать! Юлечка давай мальчонку-то отымать, рвет к себе, кричит: «Отдай, глупой!» Ну, так безумной же! Знай себе тискает, хоть ты ему что! Слава богу, мужики о ту пору мимо шли, так услыхали. А не то и замиловал бы Сашеньку до смерти…

Этот неспешный бабушкин рассказ, все ее словечки, все интонации в памяти моей удивительно ярко живут. И, как тогда, малолетнему, вообразилась картина, так на всю жизнь и осталась: хмурый мартовский день, темная, низкая горенка, тетенька кричит: отдай! И дедушка – страшный, расхристанный, безумный. Люлька раскачивается пустая. И синее личико младенца. А за дощатой перегородкой телок топает, осклизается, сладкое молоко по полу расплескал…

После побега дедушку будто бы на цепь-то и посадили. Он вскоре умер и был похоронен на кладбище, носившем странное название – Терновая Поляна. Это место по-тогдашнему считалось окраиной города. С восточной стороны в зеленых лугах протекала река, а с западной вздымалась высокая, крутая насыпь только что построенной железной дороги, по которой день и ночь бежали грохочущие поезда, непривычно пронзительно свистели черные

паровозы. И вздрагивала кладбищенская земля.

Могила Якова Петровича, похороненного больницей, сразу же затерялась. И, конечно, самая память о нем изгладилась бы в скором времени, если б после него не осталась рукописная книга. Она предопределила путь моей жизни.

Я нашел ее на нижней полке шкафа среди пыльных толстых томов старых журналов «Русский паломник». Я не любил эти громоздкие книжищи, в которых какая-то особенная, беспросветная обитала скука. Она во всем проглядывала: в тусклой, серой печати, где строчка к строчке лепились тесно, слепо, без веселых черточек в начале, всегда обозначавших какие-то занимательные разговоры – что он сказал да что она ответила. Одни унылые рассуждения, а уж картинки… Архиереи, архиереи, гробницы святых, чудотворные иконы, где лики, словно обуглены, черно, зловеще хмурятся в узорчатых складах; и еще и еще – важные длиннобородые архиереи – в облачениях, в крестных ходах, в каких-то торжественных процессиях, под многими хоругвями, на молебствиях, «в присутствии высочайших особ и двора его величества»… И множество изображений отца Иоанна Кронштадтского (личность загадочная, темная, упорно при жизни пробивавшаяся в святые), прилизанного, словно облитого лампадным маслицем…

Скука. Затхоль. Чернота. Груда книжных мертвяков. *Она* лежала, похороненная под ними..

В романе «Жизнь Никитина» есть выдуманное лицо – семинарист Ардальон Девицкий. Семилетним мальчиком в сундучке с бумажным хламом находит он рукописную тетрадь своего деда, и в ней – стройные столбцы стихов, легкий полет дивной красоты почерка. И полные жуткой прелести, таинственные, непонятные слова: зев могилы, Асмодей, хладный глас.

Дальше говорится о бесплодных попытках сочинить свое, об отчаянии, о любви к бумаге и письменным принадлежностям.

Все это некогда случилось со мной. История мальчика Ардальоши, сочиненная в романе, отчасти есть моя собственная история. Но это – к слову, а мы давайте сейчас заглянем в дедову книгу.

Грубый самодельный переплет. Бумага разная – серая, голубоватая, кое-где – синяя, называвшаяся *сахарной,* потому что, именно такой бумагой обернутые, во времена стародавние продавались большие, похожие на артиллерийские снаряды, сахарные головы.

На титульном, со ржавыми пятнами листе книги, окруженный затейливыми, мудреными росчерками, красовался заголовок: «ПЕСНИ РУССКОЙ МУЗЫ».

Затем шли столбцы стихов, в которых начертанья слов были стремительны, но четки. Без труда разбиралось написанное в такой давности. Много лет спустя я увидел почерк удивительно похожий: лермонтовский.

Любая строчка в тетради Якова Петровича являла собою необыкновенно тонкое каллиграфическое искусство. Каждая заглавная буква, каждый завиток, легкий, изящный росчерк, отбивающий одну строфу от другой, – все чаровало, во всем стройном и как бы воздушном столбце стиха была радость, было совершенство художества.

Была музыка…

Но как это описать!

Восторги, вызванные старой тетрадью, легендами о несчастном Якове Петровиче (а одна из них рассказывала о его близком знакомстве и чуть ли не дружбе с Иваном Савичем Никитиным), – это уже восторги литературные. Это уже начало жизни, осложненной сомнениями, тревогами, предчувствиями. Это уже волшебный клубочек покатился, позвал за собой. И это та самая таинственная пора бытия человеческого, когда преступаем мы неуловимую черту, за которой безвозвратно остается похожий на милую раскрашенную картинку мир детства и начинается нечто иное, где исподволь, помаленьку приучая нас, показываются во сто раз уменьшенные, но удивительно точные модели печалей, разочарований и мимолетных восторгов ожидающего нас взрослого существования.

Тут и отчаяние от бессилия создать что-то свое (пусть это безделица, кораблик из сосновой коры или две строчки стиха), и горечь обиды, ничем не заслуженной (верзила-семинарист каждый день при встрече выдает мне, как говорят, пенделя, и я, толстый, неповоротливый, в гимназической ватной шинели, кубарем позорно качусь по крутому спуску Мало-Чернавской улицы), в сладкое обмирание при взгляде на Маргариту Зайцеву, гимназистку пятого класса.

А я всего лишь был *приготовишкой,* то есть учеником приготовительного класса воронежской второй гимназии. Сознание собственного ничтожества причиняло боль.

Однако это все в будущем. Пока же вселенная делилась на две части: село Углянец и город Воронеж.

В Углянце – папа, мама, сестра Леля и бабушка Александра

Васильевна. Старшего брата не считаю – он где-то далеко, в городе Харькове. Он студент медицинского факультета.

Мы жили тихонько, с нами ничего не случалось. Вечерами отец переписывал ноты для церковного хора, на его столе приятно зеленел абажур большой керосиновой лампы. Мама всегда что-нибудь шила или штопала; Лелька шепталась с куклой, баюкая, укладывала ее спать.

А мы с бабушкой резались в «пьяницу» – азы картежной игры, где все до того просто, что и пятилетнему под силу. Но ведь – карты, азарт, смехотворное, но все же подобие настоящей страсти – с воплями, иной раз со слезами и ссорой. Старушка играла с увлечением, мы с ней неистовствовали на равных.

А не то рассказывать примутся. Тут бабушка была великой мастерицей, – и все про страшное, про разбойников, про мертвецов, про нечистую силу. Как, например, дедушка Авсенев купил водяную мельницу, польстился на дешевизну, да и не рад был потом: всякую ночь на чердаке, над жилой горницей – топот, шум, скок, потолок ходуном ходит, сквозь щели в досках земля сыплется сверху… И что ни делали, как ни стращали нечисть, – молебствовали, святой водицей кропили – все пустое: скачут, проклятые!

Вот тут-то и приводилась удивительная история о том, как наша полубабушка бесстрашно вступила о борьбу с нечистой силой и всем показала, что не телесной крепостью славен человек, а силой духа. Как только прослышала, что на авсеневской мельнице творится, так сразу вечерком и отправилась туда. В соседних ведь селах жили, из села в село всякая новость враз достигает, а тут такое…

Нуте, пришла крохотка, помолилась на образа, бадиком своим грушевым на потолок указала: как там, дескать, не началось ли?

– Да нет, – говорят, – вот сидим, ожидаем, трясемся… ох, господи!

А только лишь топотня пошла, она – старику Авсеневу:

– Посвети-ка, отец, – сказала да – в сени, да шустро так по лесенке – на потолок, одна-одинешенька. Старик внизу остался светить, со свечкой-то…

– И хоть, бог с ним, ужас какой геройский был мужчина, пудов на восемь, покойник, да нравной такой, царство ему небесное, – чуть что – маменьку за косы, а тут, словно в лихоманке, дрожмя дрожит: ведь бóзнать что на чердаку, как там старушка-то… И что б вы думали, деточки: унялось там враз и тихо сделалось, и бабушка наша, крохотка, вниз спустилась. Тут все к ней: ну что? ну что? «А ничего, говорит, покрестила *его* да

палочкой постегала маленько, *он* и покорился.. »

Старик Потапыч, зевая, крестя рот, вдвинется в комнату, что твой медведь – так велик, так косолап! – прислонится к дверному косяку, сопит, прислушивается, да вдруг:

– Энто что, – прорычит, – не то было, не то нет… А я тады сплю, слышу во снях, быдто сыч гукнул. Знак, значит, подавали… После того разговор меж них пошел: «Ну-к вылезет дед-то?» Это один, сиповатый такой. А другой: «Ты его, дискать, научает, ломиком-та по черепушке!» Меня, значит. Ну, бог милослив, не допустил. Подперли, ироды… Ох, и натерпелся жа!

– Чего ж не кричал-то? – бабушка строго губы поджала, недоверчиво. – Тревогу б сделал.

– И-и, Ляксандра Васильна, лапушка! – Потапыч смущен, могучим загорбком чешется о косяк. – Ай кому жись не мила?

Старая, темная история о том, как в запрошлом году увели лошадей.

– Дверь своротишь, ведьмедь! – притворно ворчит Марья Семеновна. – Ишь, расчесался…

Ей, видно, жалко сконфуженного Потапыча, она норовит перебить разговор на другое, шутейное: как ночным делом в лесу, напугавшись, две бабенки всю-то ноченьку по-собачьи на волка пробрехали.

– Да самого до свету ведь! А как развиднялось, глядят – пенек!

Все смеются долго, до слез. Охают, машут руками, взвизгивают.

– Пенек! – заливается бабушка. – Пе-не-ок!

– Эка! – презрительно бурчит Потапыч.

И дальше течет длинный вечер.

Иной раз отец вслух читал. Одно такое чтение очень ярко помню. Зеленая книжка новенькая, она еще не разрезана. На обертке – березки, как кружева.

Путники – некий Стуколов с товарищами – заночевали в зимнем лесу, жгли костры. Поляну окружили волки, и люди отбивались от них: выхватывая из костра горящие *лапы,* кидали ими в волков. Я обмирал от страха: волки – это само собой, это страшно, разумеется. Но горящие *лапы*…

Чьи это лапы? Зачем их жгли? Лапа понималась в одном-единственном смысле: нога зверя.

Потом, когда подрос и добрался до отцовского книжного шкафа, увидел, узнал зеленые книжки с березками: это был роман Мельникова-Печерского «В лесах», приложение к «Ниве» за тысячу девятьсот девятый год.

И враз вспомнил: вечер, лампа под зеленым абажуром, за окнами ветер, вьюшка постукивает в печи…

И почему-то фамилия *Стуколов* такой жуткой показалась.

Поля, поля огромны, бесконечны. И лес наш, возле которого прилепился Углянец, кажется, как в сказке, дремуч, а может, и заколдован. Слышу от отца: лешие, ведьмы, вся так называемая нечистая сила – ложь, выдумки, ничего этого нет. Отец все знает, и я верю ему: конечно, нет! Но вот как с колдунами? Тут что-то темно, неясно.

Ведь я такой разговор слышал. Пришла к маме баба из Забугорья, принесла моток пряжи продать. Ну, конечно, собрались две немолодые женщины, пошли судачить – то-се, всякие дела. Баба и говорит, между прочим:

– Ты, матушка, ничего не знаешь? Напустил ведь Стручок на корову-то…

– Опять?!

– Вот и да-то.

– Либо чем обидела?

– Да кто ж его знает… Летось с мужиком с моим чего-то поцапались.

– Вот видишь – поцапались!

– Да ведь летось было-то…

– А корова чего?

– Лежит в лежку, пищу не примает.

– Ай-яй-яй! Ну, это, мать моя, плохо… Водицей-то святой прыскала?

– А то как же…

– Ну?

– Да ништо, лежит и лежит.

– Ну, Миколавна, делать нечего, видно, одарить надо.

– Да, видно, придется…

Значит, что же? Нету леших и водяных нету. А колдуны? Колдуны есть. Стручок. Я уже не раз слышал про него.

Жил-был в селе по соседству деревенский портной, звали его Стручок. Он был мужичок-невеличка, но широк и груди, в плечах, и взгляд из-под густых черных бровей имел суровый, задумчивый. Он уже в летах был, но почему-то все звали его не по имени-отчеству, а просто Яшей. Яша да Яша Стручок. Землей он не занимался, портняжил, а то промышлял охотой, бродил с ружьем и вечно возился с собаками, натаскивая их – какую по птице, какую по зверю.

Портной в деревне человек нужный, уважаемый, а охотничья забава почиталась бездельем, баловством. По этой-то, верно,

причине и не прилепилось к нему отчество, и он так всю жизнь и прожил в Яшах. К нему относились немножко насмешливо. Хотя в то же время и побаивались за принадлежность к знахарскому роду: отец и дед почитались за колдунов; они ворожили и пользовали от болезней и, болтали люди, могли и вылечить, а могли и до смерти залечить, смотря по усердию и расположению. Стручков же родитель и вовсе нехорошую по себе память оставил: скотину порчивал, на девок сухоту наводил.

Мне Марья Семеновна сказывала, маленькому, когда-то, в предсонной тишине, со сладким позевыванием:

– А ты спи, а ты спи, Володюшка… И вот, стал быть, замела сипуга, вот замела! Всю-то ночку-ноченскую пылила, а в утрий день встали – тихо исделалось, яснота… Отсунули дверь кой-как – батюшки, под притолоку насыпало! А ровно, а гладко – ну, рафинад и рафинад, ни ямочки, ни следочка. Только глядь-поглядь – что такое? – конхветка на снегу в бумажке, да уж такая-то чистенька да красивенька, быдто кто сейчас лишь положил. Ей бы, девке-то, не касаться до ее, поплевать бы на ее с молитовкой, а она, глупая, возрадовалась: цоп! – да и съела. И что ж ты думаешь, посля-то…

Да что ж я думать могу? И я бы обрадовался, и я бы съел. А снег-то белый, голубой, розовый после метели, в сиянии утра, снег, твердый, как сахарная глыба… И тихо кругом, и на сто верст все – снег, снег, снег… ни следочка, ни ямочки… конфетка на снегу…

– После того – ну зачахла и зачахла, да и померла ведь в полую воду, аккурат на Алексея божья человека…

Но померла-то зачем же? Хочу сказать, что – как же это? – так хорошо, так чудесно все было, и вдруг – померла… Но приходит сон и неясное, смутное шепчет что-то, и все длиннее, все слаще позевывает Марьюшка.

И я засыпаю.

И еще есть домовой. Его хоть и называют уважительно – *хозяин,* но отношение к нему не очень серьезное, больше как-то в шутку. Он малый свойский, малый-простота. Его медом не корми, дай только пошутить. Шутки ничтожны, глуповаты: то под полом гукнет, то корчажку с молоком опрокинет в погребе, то мышонка в мучной ларь запустит. Так шутят малые дети и беззлобные дурачки.

Если б не заболел скарлатиной и не горел в сорокаградусном жару, едва ли запомнилась бы смерть Льва Толстого.

Он был в моих бредовых видениях. То есть был бородатый

старик, сказать верней, его широкая, сутулая спина в поддевке.

Снов с ним перевиделось множество, но ни в одном он не обернулся, не взглянул на меня.

Конечно, четырехлетнему, откуда мне было знать Толстого, но в те дни все, наверно, твердили: Толстой ушел, Толстой умер… Толстой… Толстой… Со всех газет глядел хмурый старик в черной рамке.

И тут именно навалилась болезнь, сделалось трудно глотать, и все словно рухнуло в пропасть, ничего не стало – ни дня, ни ночи, ни папы, ни мамы, ни Лельки, а лишь тьма, жажда, духота, неподвижность. Один *он* (опять-таки спина его) слабо шевелился в своей серой поддевке, тяжело, старчески шмурыгал глубокими теплыми калошами и все уходил, уходил… А я старался догнать его, но ватные ноги не двигались, и я кричал в отчаянии, однако крик не получался.

Так продолжалось – уже и не знаю сколько – много ночей и дней: серая спина, потемки, снег рычит под глубокими, тяжелыми калошами… Но иногда он исчезал. И тогда яркий свет больно бил в глаза, и я видел склонившееся надо мною незнакомое бледное лицо с синими щеками, очки в металлической оправе. Затем что-то холодное, твердое стучало о зубы, разжимало их, и в рот, в глотку лезла, глубоко втыкаясь, черная, остро пахнущая йодом палочка. И я кричал, прикусывал ее, давился ею… И вдруг снова наступали сумерки, и снова сутулилась серая поддевка, шмурыгали калоши…

Выздоровел я сразу, как-то без постепенного перехода от болезни к здоровью. Стала зима, светло от снега. За белым окном, во дворе, кричала ворона. Первые мои слова были:

– Есть хочу…

И еще будто бы спросил:

– А где Толстой?

Конечно, этого я не помню, но так мне, уже взрослому, рассказывала мама.

Однако откуда взялись в моем воображении эти глубокие калоши, эта поддевка, эта плоско, смутно очерченная фигура одиноко уходящего старика? Уже юношей, в двадцатых, кажется, годах, листая какой-то старый журнал, увидел серенькую, слепо напечатанную фотографию: по снежному полю идет он, уходит от зрителя куда-то старик из тех затерявшихся в потемках времени детских снов, какие так прочно и глубоко отпечатались в памяти, что вот уж шестьдесят с лишним прошло, а все помню, будто вчера лишь привиделось.

Значит, когда-то, может быть уже больной, глядел на фотографию, и она вошла в мой бред, а потом всю жизнь жила во

мне как нечто сотворенное собственной фантазией. Удивительно причудливы лабиринты, по которым блуждают воспоминания о самом раннем детстве!

И вот так – оглянешься назад, туда, откуда все начиналось, и остается такое общее впечатление, что несмотря ни на что мир, в котором жил, уютен и светел, как горница, прибранная к празднику. От черноты житейской – лишь полузабытая тревожная ночь, сычиный крик, железный ломик.

На пологом глинистом пустыре, за Челябинском леском, уродливо горбясь трухлявой соломенной крышей, догнивал свой долгий век приземистый сараюшко. Похожий на длинную лодку, перевернутую кверху днищем, он в свое время величался кирпичным заводом; из крупных, досиня обожженных полупудовых кирпичей, сработанных тут, была сложена едва ли не добрая половина углянских изб и глубоких, холодных погребов.

Зимой, заметенный многодневными вьюгами, среди снежных сугробов, он и сам пластался, как безжизненный сугроб. Но вот однажды вдруг стал ночным последним пристанищем двум отчаюгам: подпилив решетку, кинулись на ходу поезда из арестантского вагона – в ночь, в буран, в незнакомые поля. Понадеялись на темень, на снежное буйство, да все не по-ихнему сделалось: враз утихла метель, и глубокий след обозначился по снежной целине – от железной дороги к челябинским избам, к заброшенному кирпичному сараю.

Хмурым зимним утром кто-то увидел сокрывшуюся в воротах сарая снежную борозду, пропаханную беглецами. А как ободнялось, и конвойные солдаты – вот они. И была стрельба, от которой погибли отчаюги.

Всем селом бегали глядеть на убитых. А после я слышал россказни про то, как дело было. Как, будто бы опасаясь сунуться вовнутрь сарая, кричали солдаты арестантам, чтоб выходили: «Не то стрелять будем, все равно побьем!» А те молчали, и тогда конвойные открыли пальбу и убили обоих.

Лежали на снегу – синие, окоченевшие, и снег под ними уже не таял. Мама жалела их, вздыхала:

– Все ж таки люди…

– Э, матушка! – возразил ей Потапыч. – Злодеев жалеть, так на добрых людей жалости не хватит!

– Почему же обязательно – злодеи? – заспорила мама. – Не всяк арестант злодей.

– Как же не злодеи, – сказал Потапыч, – когда бессрочны?

Я стал допытываться, что такое бессрочные. Оказалось, что

это когда сажают в тюрьму *без срока,* до самой смерти. Это, конечно, было ужасно, но все-таки я никак не мог понять, зачем же в них стреляли, зачем убили.

– Зачем? – спросил я у Потапыча.

– Видно, дюже осерчали солдаты, – сказал старик, – да и как не осерчать? То б сидели в тёплушке, трубку, покуривали, ан заместо того всею ноченьку промаялись, искамши…

Но вот все поминаю: Углянец да Углянец, а до сих пор так и не удосужился описать его географию и тот житейский обиход, который в пору моего детства отличал его от остальных окрестных сел.

С запада на Углянец набегали поля, шесть или семь ветряных мельниц махали дырявыми крыльями, крохотный кирпичный храмчик – память о чьей-то давней погибели на этом месте – прятался во ржи, одна лишь двускатная кровелька с покосившимся крестом виднелась в длинных волнах хлебов.

На севере чернел казенный лес, знаменитый Усманский бор. Крайние избы вклинивались в осиновую чащу, с каждым годом все глубже да глубже, и эта часть села почему-то называлась «тот *конец*». Думаю, что «конец»-то именно и являл собою древнее начало, от которого и пошел наш Углянец. Тут при въезде, под корявой, в три обхвата ветлою, в низенькой, полуразвалившейся часовне таился *святой колодезь,* свежая, чистая вода которого мало что не вровень стояла с приземистым срубчиком. И сумрачный, черноватый лик на изъеденной червем, треснувшей доске равнодушно гляделся в тихое водяное зеркало колодца. Но никто даже из самых старых стариков не знал – когда, откуда взялась часовня, кто ее воздвиг, кто выкопал колодезь. А чуть ли не была она тою самою «старой часовней», упоминавшейся в петровском адмиралтейском указе, мимо которой велено было возить лес на великое корабельное строение.

Возле часовни к самому лесу, срастаясь с пим, огромный прислонялся парк. Он назывался *Кряжов сад* – по имени владельца, купца Кряжова, некогда воронежского городского головы, человека ничем не примечательного, тем лишь разве, что пока ходил в головах, всячески препятствовал устройству водопровода в Воронеже, Но парк был прекрасный, со старыми липовыми, березовыми, дубовыми аллеями, со множеством птиц и таких непроходимых дебрей, что и хорошему лесу так впору.

Несколько домишек, «флигарьков», разбросанных среди деревьев, сдавались под дачи. В девяностых и десятых годах тут проводили лето известные воронежские писательницы В. И. Дмитриева и Е. М. Милицына. Еще, помнится, какие-то важные

дамы под белыми зонтиками и господа в чесучовых пиджаках гуляли по заросшим аллеям старого парка. Но больше других врезался в память немец. Он был художник, часто приезжал в Кряжовские дачи, усаживался перед парком на зеленом выгоне со своим трехногим мольбертом и писал этюды: церковную ограду с тремя соснами, часовню, далекие деревенские избы, за которыми синели леса и крохотным пятнышком белела колокольня Толшевского монастыря.

Одну из своих картин он подарил отцу, и она долго висела у нас в доме. На ней изображались холсты, расстеленные на зеленой мураве выгона, кладбище и плетневый сарайчик. Все очень плоско и скучно, как мне сейчас кажется и как, наверно, было на самом деле. Я же почитал его за великого художника и мне хотелось сделаться тоже художником, – уж так-то великолепны казались его картины и так удивительно прекрасно его снаряженье – лакированный складной мольберт, этюдник на ремешке, длинные кисточки с разноцветными черепками…

Звали немца не то Вильгельм Эдуардыч, не то Эдуард Вильгельмович. Прямой, как колодезный журавель, он ходил в длинной накидке с бронзовыми львами-застежками, в крохотной полотняной панамке и высоких, до колен, чулках. За ним вечно бегали сельские ребятишки, он их не прогонял, одаривал дешевыми карамельками.

Когда началась первая мировая война, пошли слухи, будто был он немецким шпионом. Об этом говорилось шепотом, в это верили и ужасались. Но за чем бы и за кем он мог шпионить в нашем тихом Углянце? Непостижимо. Верней всего, об этом чудаке пыталась сложиться сказка, и она обязательно сложилась бы от скуки и серости жизни, как в свое время сложилась же про бабу-великаншу на деревянной ноге. Но ярко полыхнул семнадцатый год, и пошли по России такие изумительные были, что никакой сказки не надо.

А к востоку и югу разбегались луга и на них – озерки, мочажины и удивительно красивая и причудливая река, наша милая Усманка. Невелика была, но ямиста, и глубокие ямы ее кишели рыбой. Особенно язи и сомы водились во множестве. Мама, утром в стадо корову проводив, скажет, бывало, отцу:

– Что-то рыбки захотелось… *Достал* бы к обеду-то.

И тот с радостью шел на Кузьмину яму и *доставал* двух-трех хороших красноперых язей. При этом снасть его была самая простецкая: пара ореховых хворостин и самодельные, из конского волоса, лески.

Кузьмина же яма было место таинственное, окруженное мрачными преданиями об утопленниках и водяной нечисти. Тут

никто никогда не купался и с бреднями не лазили: черно, глубоко бучило, бог весть что там, в его темном зеленоватом нутре, а ну как и взаправду…

В безлесной Воронежской губернии Углянец счастливо пребывал селом подлинно лесным, и жители его испокон веку помимо землепашества еще и лесом кормились.

Об угольном промысле уже говорено, но кроме него еще и другие существовали: грибной, ягодный и, пожалуй, самый первый – воровской. Нет, избавь бог, конечно, не конокрадство, не по амбарному делу и не по клетям с бабьими укладками, – другое было: воровали лес. У воды ходить да чтоб ноги не замочить – возможно ль? А как лес прямо за огородными пряслами начинался, а ночи осенней порой долгие да темные, – то как же не поддаться соблазну? Редко у какого двора в нашем селе не громоздились кладки длинных, отборных строевых хлыстов – дуба, сосны, вяза, а то и болотной ольхи с розовой, как человечье тело, древесиной.

Лес продавался на юго-восточную сторону, степнякам, в безлесные села – Катуховку, Ветневку, Хаву. Там жили хлебопашцы природные, коренные, крепчайшие мужики – бородаты, степенны; сапоги жирно мазаны дегтем, шубы овчинные нежно-золотисты, а не то кипенно-белы, пахучи. Едет такой в розвальнях, сена полкопны под ним, сам древним идолом сидит каменным; сытый, могучий битюг рвется из ременных вожжей – все в рысь, все в скок…

Такие-то степные мужики и были главными покупателями углянского леса.

Ну, это все, конечно, происходило в то старинное время, когда еще железную дорогу не проложили из Москвы на город Ростов. С железной дорогой все изменилось, Углянские наши помаленьку чуть ли не из каждого двора в мастеровщину подались, *на чугунку,* как тогда говаривали, и лесом уже мало занимались. Но занимались все-таки, и степняки нет-нет да и наведывались в Углянец еще и на моей памяти – в розовых овчинных тулупах, на огнедышащих своих зверовидных лошадях…

Ох, эти лошади!

Теперь уж не пойму – видение ли, сон ли, сказка ли, чудесно, непостижимо переливающаяся в быль, – с незапамятных пор живущее во мне воспоминанье о грозно всхрапывающем вороном жеребце и обо мне, пятилетнем мальчонке, сидящем на этом звере, вцепившемся в его косматую гриву… И бешеный скок над

землею – повыше леса стоячего, пониже облачка ходячего, – высоко, так высоко, что дух перехватывает в груди; а навстречу – косяк гусей, тревожно гогочущих, летящих в ночи среди медленного кружения снежинок близкой зимы.

– Здравствуйте, сто гусей! – кричу вожаку.

– Нет, – отвечает старый гусак, – нас, парень, не сто, а вот если б еще столько, да полстолько, да четверо столько, да еще бы один – тогда лишь сто набралось бы…

И хоть под облаками несет меня вороной, а все внизу – как на блюдечке: черные мельницы на краю села, в избах огни погасли. В белое зимнее поле из темной лесной чащи

Выходит волк Мартын, лобастый и седой,
С волчицею своею молодой…

Эти стихи про коня, гусей и волков, про дивный ночной полет над землею я написал в голодном послевоенном году. Они были заглавными в большой подборке «Пущи заповедные». Но редактор альманаха сказал:

– Какая же в них идея? Наподобие детских сказок…

И велел эти стихи заменить другими. Я написал другие, тоже про свое детство, но тут уже была буденновская конница и благородные олени, выпущенные на волю из знаменитого зверинца принцессы Ольденбургской. Стихи напечатали в «Литературном Воронеже», но московский критик все равно и в них не нашел идеи и опубликовал насмешливую статью о моих «Пущах», после которой у меня надолго пропала охота к сочинению стихов.

Но что же все-таки было?

Помню, ночевали как-то у нас степные мужики. Поужинали, помню, поговорили с отцом. На расстеленной белой кошме улеглись спать. А ранним утром пошли во двор запрягать, вывели из сарая лошадей, и тут кто-то возьми, шутя, да и посади меня на широченную спину огромного вороного жеребца.

Боже ты мой! Какая радость охватила, какой восторг, но ведь и страшно же… До крика страшно! И как явственно почувствовал я горячее конское тело, вздрогнувшую могучую спину всхрапывающего косматого чудовища…

– Ай! – испуганно с крыльца закричала мама. – Снимите, снимите скорее! Убьет!

– Да нешто, матушка, он у тебя не мужик? – ссаживая меня на землю, посмеиваясь в рыжую бороду, сказал шутник.

Вороной косил на меня огненным глазом, потряхивал длинной, тяжелой гривой. Лениво падал первый тихий снежок,

сорока на плетне бранилась.

Вот и все, что было. А ничего, собственно, и не было. Но в памяти осталось диво, волшебный полет, в снегопаде летящие гуси, волки на белом снегу…

Да ведь как осталось!

Итак, весь мир мой делился на две части – Углянец и Воронеж. Город со временем (начиная с гимназии) займет в этом мире если не главное, то равное с Углянцем место, а пока, в ту пору, о которой идет речь, город как праздник, раз или два в году, и всегда ненадолго – день-два, с ночевкой обязательно в старой гостинице братьев Абрамовых, что на Большой Московской, под басовитыми колоколами Митрофания.

С чего начинался город?

Конечно, с осатанелого рева паровоза, требующего зеленою семафорного огонька на высоченной крутизне Троицкой слободы, где, как над пропастью, повисаем над кривыми, горбатыми уличками низового Воронежа, над всякими там Средне-Смоленскими, Дьяконовскими, Девиченскими, Гамовскими над глубоко внизу под насыпью раскинувшейся Терновой Поляной с ее церковью и кладбищем, на котором похоронен мой дедушка…

Поезд затем тяжело, гулко пыхтит под двумя переходными мостами, бежит по ущелью, по обеим сторонам которого, высоко над вагонами, лепятся разноцветные домишки, и на одном из них чудесная, яркая картинка: на желто-голубом поле – два скрещенных зонтика, черный и белый. Не могу сказать, к чему они красовались на зеленой дощатой стене домика, делали их там или только чинили; главное не в этом, главное в том, что зонтики понимались как главный герб того диковинного и великолепного города, в который мы въезжали. Герб города Воронежа.

Но это все – Терновая Поляна, высокая насыпь, рев паровоза, – это все лишь преддверие города. Самый город по-настоящему начинался с извозчиков и воробьиного гомона. Посреди вокзальной площади стояла часовня, вокруг которой, как пчелы вокруг матки, черным роем лениво шевелились несколько десятков воронежских извозчиков. Приятным духом конюшни встречал город приезжего человека; тучи воробьев, пирующих под ногами лошадей, оглушительно приветствовали его.

И начинался праздник.

Извозчик облюбовывался какой подешевле, езда в гостиницу через всю Большую Дворянскую была не шибкой, за двугривенный, без форсу, без лихачевского гайканья. Удивителен ход такой извозчичьей лошадки – нечто среднее между шагом и

медленной рысцой, – вроде бы и бежит, но глянешь на шагающего по тротуару пешехода – и возьмет сомнение: да бежит ли? Но зато все разглядишь, все вывески перечитаешь: черная с золотом «Реноме», лучшие табаки, голубая – «Кондитерская Тифенталя», длинная, угрюмая, во весь дом – «Кулешов и Льготчиков, гастрономические и колониальные товары», музыкальный магазин «Эхо», писчебумажный – Молчанов и Богданов и великое множество других. Я «читал» улицу с наслаждением, как увлекательную книгу.

Но вот наконец гостиница, длинный коридор с пестрой дорожкой и круглыми белыми плевательницами возле стен; комнатка, цветочки на обоях, за раскоряченными тяжелыми ширмами – кровать с блестящими шишечками, огромный медный рукомойник над голубым, с оббитой эмалью тазом, круглый стол и на нем «Крестный календарь» Гатцука – довольно большая книга со святцами и Брюсовыми предсказаниями погоды на весь год; стеклянный мутный графин и блюдечко, на котором серая бумажка с нарисованной исполинской мухой и двумя-тремя высохшими настоящими мертвыми мушками… И – странное дело – почему-то нет электричества, и даже не керосиновые лампы, как у нас, в деревне, а обыкновенные стеариновые свечи. Напротив, через дорогу, гостиница «Франция» великолепно сияет электрическим светом, а «Братья Абрамовы», как и сто лет назад, пребывают в таинственном полумраке…

В утренних синеватых сумерках бухнул большой монастырский колокол. Деревянными ложками защелкали по булыжнику копыта лошадей, затарахтели пролетки. Меня разбудили, одели в черный бархатный костюмчик с белым воротничком, причесали и повели в собор к обедне.

Дальше все случилось как-то сразу: в соборе я потерялся. В полумраке шевелилось многолюдство, все предметы вокруг повторялись и повторялись бесконечно – иконы, иконы, высокие серебряные свечники, переливающиеся дрожью множества красноватых и белых огоньков; чужие платья, чужие ноги, серые каменные плиты пола… Сообразив, что со мною приключилось, я не закричал, не стал звать маму, а принялся яростно, отчаянно протискиваться между людскими ногами, норовя как можно ловчее проскользнуть в полутемном, тесном пространстве; куда? – вряд ли сознавал. Проскользнуть – и только. Перед глазами смутно мелькали шелковые длинные, до пола, юбки женщин, тяжелые суконные фалды чьих-то сюртуков, серебряные и золотые пуговицы мундиров, блестящие голенища тонких лакированных сапог, калоши военных с медными бляшечками на

задниках, с прорезями для шпор… Затем пошла грубая обувка, остро пахнущая дегтем, мужицкая; наконец – лапти, опорки… И вдруг – солнечный свет, свежий, ласковый ветерок и обвальный, могучий поток колокольного звона на просторе широкого монастырского двора.

Какая же сила несла меня сквозь эту кипень людской толпы и, как пробку из сосуда, вытолкнула на свет, на широкую каменную паперть? И все-таки, куда я бежал? Мимо калек и нищих, мимо длинных столов, за которыми черные, волосатые монахи торговали бумажными литографированными иконами, медными образками и красными кипарисовыми крестиками; мимо стеклянной загородки, где хранилась ветхая, с пухлыми херувимчиками на белых атласных дверцах карета Митрофания, будто бы самим царем Петром подаренная ему…

Вот вспоминаю сейчас: было ли мне страшно? Нет, ничуточки. То, что я испытывал, скорее восторгом назову, а не страхом. Как позднее в удивительных снах отрочества, когда что ни ночь – летал, летал, высоко взвиваясь и падая турманом, и просыпался, счастливый от крылатой силы, от диковинной радости, так и в тот раз, что потерялся: огромный, чужой мир, яркий, праздничный, громогласный мир, и я – один!

Впрочем, меня скоро нашли. Смеясь и плача, мама взволнованно твердила: «Володюшка! Володюшка!» Отец был бледен и тоже, кажется, взволнован, однако нежность выказывать не стал, а, строго сдвинув черные цыганские брови, погрозил пальцем.

Они оба, как потом рассказывала мама, очень испугались, думали, что меня украли побирушки.

О том, что нищие крадут маленьких детей, в нашем доме знали из книг. Среди прочего в долгие зимние вечера были прочитаны вслух «Петербургские трущобы». Крестовский нагнал такого страху, что когда я уже ходил в гимназию и вроде бы вырос из маленьких, мама все еще боялась, как бы меня не украли.

В связи с Крестовским и зимними чтениями надо еще раз упомянуть о нашей деревенской книжнице. Шкаф был набит так плотно, что книга вытаскивалась с трудом. Помимо классиков, прилагавшихся к «Ниве», тут в тесноте великой ютилось и множество случайных одиночек вроде «Трущоб», или «Ключей счастья», или даже декадентских сологубовских «Навьих чар». Однажды в нашем шкафу появилась удивительная, пестро разукрашенная золотыми завитками толстая книга. Она даже и не книгой вовсе выглядела, а скорее шкатулкой, вроде той, где

бабушка Александра Васильевна хранила разноцветные мотки гарусных ниток, мешочки со стеклярусом и какие-то старые, полуобгоревшие свечи. Может быть, обилие золота на переплете было чрезмерно, но именно оно-то и делало книгу особенной, не похожей на другие. Название ее было торжественно и несколько загадочно: «Земля и люди».

Не без робости взял я в руки это раззолоченное чудовище. Как тяжелую, таинственную дверь, открыл переднюю крышку переплета. Странный, чудной старик встретил меня на первом листе; лобастый, насупленный, он как бы спрашивал строго: «А тебе, мальчик, что тут надобно?» И я оробел, проскользнул мимо него в запретное и, словно убегая от старика, сразу заглянул в глубину, в середину книги, а там…

Уродливые гигантские каменные головы, врытые в голую, без единого деревца, землю, равнодушно, слепо таращились на меня. За этими великими обрубками была пустыня, был океан. «Остров святой Пасхи», – прочел я подпись под картинкой и захлопнул толстую книгу с каким-то неприятным, тревожным чувством не то страха, не то виноватости за дерзость вторжения в невероятный этот, но, кажется, взаправду где-то существующий ужасный, какой-то даже зловещий мир… Осторожно поставил я на место раззолоченную книгу и уже больше до поры до времени не притрагивался к ней.

Однако каменные чудовища не выходили из головы, стояли перед глазами – молчаливые, непостижимые. Они как бы поселились в нашем доме, и как же я их боялся! Ведь чего проще спросить – что это? Но мне и спросить было страшно.

– Тебе нездоровится? – обеспокоенно спрашивала мама. – Головка не болит ли?

Бабушка ворчала: «Пятилетнего дитю ученьем замучили, вот и пожалуйте… Высох мальчонка-то, одни глаза остались…» Но никакого ученья не было, «ученьем» она называла вечную мою возню с разглядыванием старых журналов, в которых любил раскрашивать цветными карандашами всякие картинки. Сперва мне это запрещали, но потом махнули рукой. «Бог с ним, – сказал отец, – пусть малюет, может, еще художником станет…» Мама горестно вздыхала, ее моя худоба тревожила, да, верно, и будущность художника казалась вовсе не тем, чего она хотела бы для меня.

А между тем ночью обрубки великанских голов вваливались в наш дом, толпились возле моей кровати, и я вскакивал, пытался убежать от страшилищ, но где же! Заметив эти мои ночные блуждания, родители встревожились, повезли меня в город к знаменитому в то время доктору Романову. Он прописал какие-то

микстуры и велел почаще гулять. Бабушка тоже встряла в лечение, каждый вечер прыскала на меня из пузыречка с крещенской водицей и что-то шептала. Не знаю уж от чего, только видения помаленьку оставили меня, все пошло по-прежнему, но на книгу Элизе Реклю я долго еще поглядывал с опаской.

Однако я окончательно сбился с большой дороги повествования, сошел на боковую тропку. Итак, о путешествиях в город как о праздниках.

Когда мы ездили с отцом, хождение по книжным магазинам было обязательно. Помню особенно два – Молчанова-Богданова и Наумова. Первый был высок, светел, просторен; приказчики суетились, лазали по высоким лестницам; легкий праздничный шумок стоял в магазине. Второй, наумовский, – тихий, полутемный; низенькие потолки, за прилавком сам хозяин да мальчик-подросток, из родни, наверно. Но главное – какой-то домашний уют был во всем: в тишине, в малолюдстве, в тесных и темноватых закоулках старинных сводчатых комнаток. Очень непохожие друг на друга магазины, но в обоих душа леденела от восторга; самый их воздух был чародейство, наваждение, восторг. Воздух этот слагался из многих запахов: давно лежалой бумаги, переплетного клея, лака, литографской краски, клеенчатых тетрадей, деревянных пеналов, карандашей, дубовых полок и еще чего-то неуловимого, таинственного, присущего всем на свете книжным магазинам.

Весело, чудесно было ездить с отцом; с мамой – иное дело. Ее заботой бывали неинтересные пустяки: покупка пуговиц, гарусных ниток, резинки для вздержки, клоков белого полотна, пестреньких ситцев. Иногда она вовсе ничего не покупала, зайдет, поговорит с приказчиком, прицепится кой к чему да и повернет с пустыми руками.

Однажды мы побывали с ней в большом магазине, на яркой вывеске которого, к моему удивлению, красовалась наша фамилия. Магазин помещался на Острогожской, рядом с Щепным базаром. В нем торговали всевозможными красками. Битый час мама толковала со стариком хозяином: они хотели доискаться, не в родстве ли мы. После долгих поисков оказалось, что нет, не в родстве. Во время разговора бородатый старик Кораблинов угощал маму чаем с печеньем «Альберт». Мне тоже дали печенья, но я, хотя и очень любил его, по застенчивости своей деревенской сказал «спасибо» и не съел ни кусочка.

На горбатой приречной Мало-Садовой улице жил мой крестный Иван Дмитрия Грецков. Он был офицер, отставной

подполковник, гитарист, художник-любитель. Приятно позванивая гитарными струнами, задумчиво, вполголоса напевал «Вот на пути село большое, куда ямщик мой поглядел…» Акварелью и маслом срисовывал с открыток пейзажи с водой, с отражением в ней деревьев и луны; обожал выпиливать лобзиком рамочки и шкатулки; кроме всего, его страстью была охота.

Ничего не могу сказать об охотничьих подвигах крестного, но в доме его во всем виднелась эта страсть, – в картинках, изображающих то пятнистого лягаша, застывшего в стойке, то стаю диких уток, летящую ночью при луне, то распетушившихся глухарей на розовом снегу морозного утра. Ну конечно, и чучела были: франтоватый селезень и серая крякуша на особой стеклянной подставке, как в воде, отражавшиеся в стекле. Даже на фанерных стенках самодельного абажура для настольной лампы были тончайше выпилены охотничьи сцены: в древесных зарослях токующие тетерева и охотник, подкрадывающийся к ним. Обклеенный изнутри зеленой папиросной бумагой, абажур этот был очень красив, и я любил, когда зажигали лампу, разглядывать его хитрые зеленые узоры.

На ковре, над диваном, крест-накрест висели два ружья, медный охотничий рог, а на самом верху – какой-то чудной, длинный черный пистолет. Подобные пистолеты я видел на картинке, изображавшей нападение разбойников на почтовую карету. Я спросил Ивана Дмитрича – не разбойничий ли этот?

– Дуэльный, – рассмеялся он. – Да ты знаешь ли, что такое дуэль?

– Ну как же, – сказал я, – знаю. Пушкина убили на дуэли.

Мне ужасно хотелось спросить, неужели и он…

Я не решился. Но ко всему, что мне нравилось в крестном – его уменье рисовать, его игра на гитаре, его охотничьи доспехи, – ко всему этому прибавилось еще восхищение его таинственными дуэльными приключениями. Позднее я узнал, что никаких приключений не бывало, что пистолет куплен на толкучке специально для того, чтобы красиво увенчать развешанную на ковре коллекцию оружия.

Итак, все-все чаровало меня в доме крестного, и нечастые гостевания на Мало-Садовой казались мне подлинными праздниками. Но помимо всего ведь и сама улица Мало-Садовая была не как другие, она была знаменитая: на ней жил всему миру известный клоун Анатолий Дуров. Дуровская усадьба лепилась по крутому взлобку, над рекою, в самом конце улицы. В какой-нибудь сотне шагов от Иван Дмитричева дома.

И вот однажды мы отправились к Дурову.

Здесь, на окраине города, он насадил сад, сбегавший по склону к реке, а в саду завел множество чудес. Гроты, лабиринты, таинственные подземные переходы, забавные китайские храмчики, ротонды, причудливо подстриженные деревья и античные статуи, – чего только не придумал, не понастроил, украшая маленький клочок воронежской земли, этот неисчерпаемый на выдумку человек! Огромная, в два человеческих роста голова, нелепая, пучеглазая, близкая к плотоядным маскам великолепных раблезианских обжор, встречала озадаченного посетителя. В широко разинутой зубастой пасти была устроена приземистая дверь, на которой виднелась надпись: «Вход воспрещен». И это было таинственно, жутко, и все думалось: а что там, за этой дверью? Груда диких валунов громоздилась возле. На одном из камней виднелись коряво вырубленные стихи:

Люди каменного века
Были с сердцем человека,
У людей же наших дней
Сердце тверже всех камней…

Эти стихи сочинил сам Дуров.

В садовом павильоне был музей. Я хорошо запомнил этот дом чудес, и особенно две комнаты: в одной были собраны картины и рисунки, в разное время подаренные Дурову известными русскими художниками; другая представляла собою выставку необыкновенных живописных произведений самого артиста. Необыкновенность заключалась в том, что картинки эти не просто были написаны красками, а частью создавались из так называемого *бросового* материала – кусочков дерева, битого стекла, разноцветных камешков, тряпок, клочков бумаги, кожи, – да я уж и не знаю, чего там только не было! С поразительной выдумкой и своеобразным мастерством все это наклеивалось на фанерные дощечки, на стекло, на мешковину и подцвечивалось яркими красками.

И что ни шаг – дивное диво, глаза разбегались и горели щеки, а в груди, в животе – ледяной холод восторга. Тут, в этой необыкновенной комнате, стоял полумрак; высвечивая отдельные подробности картин, невидимые горели лампочки. Их свет был разный по силе – то яркое сияние, то словно из-под земли. И от этого странной, зачарованной казалась приземистая комната; казалось, что не все еще увидены чудеса, что главное чудо где-то еще притаилось, ждет…

Этим чудом был перископ. Из полутьмы являлось видение: на

большом листе белой бумаги желтела песчаная отмель реки, двигались голые люди, кидались в синюю воду, взрывая ее серебристо-белыми брызгами; женщина в красной юбке полоскала белье, шлепала вальком беззвучно; рыболов закидывал удочку, и тень от его челнока извивалась по воде черными маслянистыми змеями; в пузатой семейной лодке проплывали на распашных молодые люди в шляпах из соломки, в пиджаках и галстуках, и с ними две девицы, одна под розовым зонтиком, другая с гитарой, в венке из желтых кувшинок…

А вот еще одно памятное паломничество. Кажется, в девятьсот пятнадцатом отец привел меня на тихую, с пыльными тополями, заросшую выгоревшей муравкой улицу и, указав на неприметный, в три окна домишко, сказал:

– Тут жил Никитин…

Я много знал о нем: что дворничал, встречал и провожал мужиков-извозчиков, что жизнь его была тяжкая. Кроме всего, он в нашем доме пребывал не только в виде толстой синей книги с золотыми калошными буквами на переплете «Сочинения И. С. Никитина», но почти как родня: жила легенда о дедушке Якове Петровиче, будто бы он с книгопродавцем и поэтом Никитиным был в отношениях самых близких и дружественных; будто бы из книг, взятых именно в никитинской лавке, списывал в свою тетрадь полюбившиеся ему стихи, среди которых были и недозволенные, крамольные – рылеевские и даже «Вольность» Радищева.

О дедовой книге мною уже помянуто. Более того, я бы даже так сказал: дедова книга есть начало моей жизни. И это не через край хвачено, не для красного словца, а потому, что книга эта действительно была для меня как двери сказочного Сезама, потому, что через нее-то и вошел я в дивный мир художества.

Помните, я о дедушкином почерке говорил? О красоте его стремительных строк, о музыке, звучащей в стройных столбцах стихов? Я любовался, но этого оказывалось мало: восьмилетним я возмечтал сравниться с Яковом Петровичем в каллиграфическом искусстве. Принялся подделывать свое письмо под его почерк. Старательно переписывал разное из дедушкиной тетради – и «Под вечер осени ненастной», и «Глагол времен, металла звон», и другое, многое. Конечно, куда моей слабой, неопытной руке было тягаться с тонким художеством! Но я марал и марал бумагу, и что-то, наверно, уже более или менее получалось; однако смутное чувство неудовлетворенности бередило, посасывало, как болячка. И вдруг понял: надо сочинить самому! Но о чем же? И как это делается?

Как раз случились тут беглые арестанты, убитые в кирпичном сарае. Это ужасное событие заполнило мое воображение чрезмерно (кстати, и Жана Вальжана историю недавно отец прочел нам вслух); ни днем, ни особенно ночами я места себе не находил, и за что бы ни принимался – разглядывал ли любимую свою «Ниву», решал ли примеры из задачника Евтушевского[1] (меня уже готовили в гимназию), расчищал ли снег после ночной метели, – мысли вертелись вокруг одного: снег, поле, беглые арестанты.

И уж не знаю сам, как оно получилось, но вечером в тетрадке, где я упражнялся в каллиграфии, появились первые в жизни сочиненные строчки:

В глуши лесной,
Где волчий вой,
Стояла хижина одна.
В ней беглый каторжник сидел
И в даль дремучую глядел…

Отсюда и началось.

– Тут жил Никитин, – благоговейно сказал отец. – Эти три окна из его комнаты…

Я уставился на серый, невзрачный дом, на мраморную, прикрепленную к стене доску, где как раз об этом и говорилось. Но быстрое воображение почему-то нарисовало не то, что было там, за тремя окнами; не комнату, в которой Никитин когда-то сочинял свои стихи; не самого Никитина, его хорошо известную по памятнику согбенную фигуру, склонившуюся над шатким столиком; не разбросанные в беспорядке листы бумаги, гусиное перо, чернильницу, – нет, воображение нарисовало распахнутые настежь ворота, вереницу скрипучих телег, мужиков, возы, длинный обоз, потянувшийся из ворот никитинского дома в пыльную, скучную даль Большой Московской улицы, прямо, уныло уходящей к городской заставе, к Задонскому шоссе. Среди множества мужиков, быть может, и сам Никитин находился, провожал ночных постояльцев. «С богом! Час добрый!» – кричал им, стоя у ворот… Что ж удивительного? Так и бывало, наверно.

Во всяком случае, с никитинским домом связалась картина выезда извозчиков – тарахтение телег, пыль, дребезжание ведра, привязанного к тележному задку. Но самый дом как обиталище поэта… Что-то такое в нем было, от чего, несмотря на памятную мраморную доску, он казался не настоящим, не подлинным, не никитинским. Но что же? Да ничего особенного, пустяк: длинная

желтая вывеска

НАСТРОЙКА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО

Дом принадлежал одному из дальних родственников Никитина, некоему Алексееву, настройщику.

А в тех трех окнах, о каких так любовно вспоминает первый биограф поэта М. Ф. де Пуле: «Вот он – крошечный домик… второй от угла, налево, при повороте с Садовой, с тремя окнами на улицу. Едешь, бывало, к нему в темную осеннюю ночь по едва мощенной и ничем не освещенной улице. Но вот обдают тебя лучи света, и сквозь вспотевшие три окна видишь знакомые листья розовой травки и лилий…» – в окнах этих – то же, что и в других мещанских домишках по соседству – кисейные занавески, красные звездочки герани. И очень уж какой-то будничный, скучный белый ярлычок: «Продаются щенки лягавой породы».

Желтая вывеска унижала дом поэта. Пялилась назойливо на прохожих. Рядом с этой яичницей мраморная доска казалась незаметной, как бы случайно, по ошибке прибитой к убогому мещанскому флигельку.

Да и сама улица, из Кирочной в честь поэта переименованная в Никитинскую, все равно, как и сто лет назад, была такая же скучная, пыльная.

Ни дом, ни улица мне не понравились. Ведь – помните? – всякая поездка в город означала праздник, а тут оказывались самые обыкновенные будни – серые, сонные. Скука.

То ли дело – звенящая, грохочущая конка с шестернею хрипящих одров, взлетающая с Большой Девиченской на крутой Петровский спуск! Вагончик мотало – вот-вот сорвется с рельсов, опрокинется, низвергнется в тартарары… Яростные звонки, вопли кучера и верховых поддужных, выстрелы кнутов, охапки искр, летящих из-под копыт остервенившихся лошадей… С маху выносимся к памятнику Петру, к скверу на Дворянской, и все облегченно вздыхают: пронесло, слава те господи! А то ведь и так бывало, что домчат коняги до полугоры да и стоп! И тогда – трудный, на тормозах, спуск вниз, на Девиченскую, и – все сначала…

Начав разговор о лошадях, как не вспомнить пожарные выезды. Я видел один такой, и он потряс меня. Запряженные в красные колымаги, зверовидные, жирные, могучие кони неслись с грохотом по булыжной мостовой; трубил трубач, сверкали медные каски римских воинов. Огненные хвосты факелов причудливо пятнали лоснящиеся конские крупы, золотыми

сполохами метались, отраженные в стеклах окон, в витринах магазинов, Часто-часто звонил колокол, и весь этот гром и треск, трубные звуки и вихревой скок разъяренных чудовищ, осатаневших от долгого бездействия и обильного корма, – все это отпечаталось в памяти картиной совершенно фантастической, зловещей. «О серые камни копыта стучат, крутится алый свиток плаща», – написал я десять лет спустя, сочиняя поэму о декабристах. О том, как в потемках декабрьского рассвета император и его свита скачут на Сенатскую площадь, чтобы покарать восставших. Писал коряво о страшном утре 14 декабря 1825 года, а перед глазами пылали факелы воронежских пожарных, с грохотом и звоном проскакавших по Большой Дворянской в девятьсот пятнадцатом…

Воронеж моих детских лет был необыкновенно щедр на всякие чудеса.

Он поражал меня множеством изумительных вещей. Зеркальными витринами с чопорными, жеманными восковыми господами и расфуфыренными дамами; с дорогими игрушками вроде железной дороги, где крошечные будки, семафоры, мосты и вокзалы, где бегали, совсем как настоящие, пассажирские и товарные поезда; с чучелами медведей и волков, с громадными самоварами, с картинами в пудовых позолоченных рамах, с граммофонами, с медными трубами и бог знает с чем еще…

Он поражал меня оголтелым свистом паровоза «кукушки», чертом проносящимся вдоль грязной канавы по тихой Кольцовской улице; двумя-тремя диковинными и те годы автомобилями на высоких, с блестящими велосипедными спицами колесах; приятными мелодичными звоночками над дверями магазинов; золотыми калачами над булочными; яркими афишами кинематографа (или *синематографа,* как тогда говорили) и цирка, на которых великолепные изображались штуки: рвущий толстые цепи, обнаженный до пояса великан; или маг и чародей, черноусый красавец в черной маске, за пышные рыжие волосы держит отрубленную женскую голову (сама обезглавленная дамочка сидит рядом на стульце, чинно сложив на коленях руки в длинных черных перчатках); или некто в широкополой шляпе, со зверской ухмылкой целящийся в меня из пистолета… да нет, не перечесть всего.

Но вот ведь странное дело: как ни захватывающе интересно было все это, как ни шла кру́гом голова от городских чудес, а всякий раз я расставался с ними без особенного сожаления, и с удовольствием думал в вагоне, что вот сейчас приедем в милый наш Углянец, и снова будет все то, в чем нет ни крошечки

удивительного и чудесного, а только привычное и родственное: старая верба-раскоряка у ворот, бесконечные бабушкины россказни, мельницы-ветрянки у въезда в село, дубовый лесок за огородом, на челябинскими избами…

И ничего не было дороже.

И год, и два, и три беспечально живет маленький человек на теплой, уютной земле. В свое время научается ходить, несложные свои мысли выражать словами, познает мир не спеша. И хотя окружающее его прямо-таки кишит всевозможными тайнами и загадками, все помаленьку поддается его пониманию, все постигается, когда приходит пора. Он как бы играючи, весело, легко бежит по шумному большаку жизни. И вдруг с разбега налетает на препятствие, на нечто непостижимое. Оно не только непонятно, это препятствие, но еще и страшно, и невозможно объяснить, чем оно страшно и зачем существует. Его называют смертью.

Маленький человек знал это слово, понимал его жуткий смысл; дважды смерть справляла свое дело в нескольких шагах от него: в одночасье умерла рыженькая сестренка Зина, двух беглых арестантов убили почти рядом с усадьбой, но оно, слово это, как-то скользило мимо его сознания, не задевая глубоко, не заставляя остановить веселый бег.

И вдруг останавливает властно. Велит задать себе вопрос: а что это? откуда? зачем?

Верховой на́рочный прискакал под вечер зимнего дня. На голубоватом листке телеграммы всего три слова: «Михаил Васильевич скончался».

И тотчас в большие ковровые сани запрягается серый мерин, и в доме суета, спешные сборы, и мама плачет, и хмурится отец.

А я счастлив: меня берут с собой.

Дорога в санях на станцию, ночной поезд, вагон с таинственным пощелкиванием парового отопления, молочно-белый круг фонаря на потолке, наполовину задернутый сивой занавеской, копченые миноги в промасленном листе «Русского слова», дешевая вагонная еда…

Интересно необыкновенно; никуда не собирались ехать и вдруг – едем!

Скончался острогожский дядя Михаил Васильич, в доме которого всегда почему-то пахло стиркой и который, как мне казалось, всегда был чем-то недоволен. Высокий, бледный, с чахлой бородкой. Быстр в движениях, но молчалив. Бабушка отзывалась о нем с презрительной усмешкой: «Чудак, не от мира

сего, все клады ищет… Это даже и неприлично, священнику-то… Бедная Раечка!»

Бедная Раечка была маминой сестрой, женою Михаила Васильича. Бессловесная, непримечательная, она чуть ли не каждый год рожала по мальчику. Двоюродные мои братцы отличались дурным характером и необыкновенной проказливостью: чуть что – лезли в драку, и, сказать по правде, я их побаивался.

Клады же, раздраженно поминаемые бабушкой, были не что иное, как дядино увлечение археологией. Не могу сказать, откуда пришла к нему эта страсть, но – вот подите же! – каждое лето на месяц и более уезжал с работником в степь и там копал по бесчисленным курганам и, случалось, что-то находил, какие-то черепки, бронзовую цепочку, зазубренный, изъеденный ржавчиной топоришко. Был в постоянной переписке с воронежскими «копателями» – краеведами Степаном Зверевым и В. В. Литвиновым. Все эти подробности я, разумеется, узнал много позднее, и они помогли мне хоть немного понять, что за человек был мой дядя и что значило бабушкино презрительное определение: «не от мира сего».

Но вот теперь он скончался.

Странное слово услышано впервые. Оно не совсем понятно, значение его туманно, загадочно. Прочитав телеграмму, мама заплакала:

– Шестеро сироток… Как же они теперь, без отца-то?

Значит, подумал я, он просто-напросто умер. Но почему бы так и не сказать, а то – скон-чал-ся.

Какое неуклюжее, неприятное слово.

О мертвых вообще любят говорить туманно, невнятно. Например: такой-то преставился. Или: приказал долго жить. Отец однажды сказал про умершего:

– Ушел в лучший мир.

А старик наш Потапыч, когда заболел и его соборовали и причащали, и все говорили, что он обязательно умрет, – тот и вовсе меня озадачил. Я залез к нему на печь и, жалея его, спросил, что это с ним. «Ох, да что-что, – закряхтел старик. – Видно, брат, *домой* пора…»

Какая-то путаница, неясность связывалась со смертью, и я все думал и думал об этом, и в лесу по пути на станцию, и в вагоне.

Но приехали в Острогожск – и все еще больше запуталось.

Когда мы вошли в дом Аполлосовых, первое, что меня поразило, был дядя Михаил Васильич. Он лежал на столе, и это, пожалуй, показалось даже немножко смешно. Я ведь никогда не видел, как обряжают покойников (мертвую Зину прямо с

постельки положили в гроб и сразу унесли). Кругом все плакали, вздыхали, и было много чужих, незнакомых людей. И запах в комнатах стоял какой-то сладкий, тошнотворный: это курились расставленные по подоконникам ароматные свечки, известные под названием *монашек.* Черные, остроконечные, они и вправду напоминали крохотных, величиною с мизинчик, монахинь – черные ряски, черные иноческие куколи. И, верно, из-за этих монашек в дальнейшем самое слово смерть обязательно вызывало в моем воображении отвратительные пахучие угольки, дымящиеся на белых, холодных подоконниках.

Но о монашках – к слову, между прочим; важно было другое: оказывалось, что дядя не просто умер, а отравился. Он проглотил порошок яда – стрихнина – и после этого еще сколько-то часов пребывал в каком-то непонятном мне состоянии. «Находился между жизнью и смертью», – сказал старший из моих братьев, гимназист шестого класса, любивший выражаться значительно, книжно и не всегда понятно.

Мелькнуло жутковатое словцо *самоубийство.* Слово это я и раньше слыхивал и что это такое – знал. Но ведь оно до сей поры для меня всего лишь общим понятием существовало, а сейчас воплощалось непостижимо в образ лежащего на белой скатерти синевато-бледного человека, убившего себя, – для чего, зачем?

Я слонялся между незнакомыми людьми, из их разговоров пытаясь понять – для чего же все-таки понадобилось дяде убивать себя? Но так ничего и не понял. Гости о разном толковали: о дороговизне жизни (вечная тема обывательского гостеванья), о каком-то монахе Иллиодоре, о недавнем поездном крушении, о бедственном положении несчастной вдовы, – о чем угодно толковала, только не о дяде. О нем лишь раз помянулось глухо – что глупое копанье в земле к тому только привело, что детишкам его теперь хоть по миру иди… Еще какая-то поминалась девица, сиротка, которую дядя *призревал* и которая… – которая что? – я не расслышал: говорившие перешли на шепот и засмеялись.

Затем медленное время потянулось в скуке, в тоске по дому, в чужом многолюдстве, в неприятном, шумном обществе двоюродных братцев, в непрекращающемся гуле вздохов, сморканий, унылого бормотания псалтырной чтицы, в застойном смраде четырех ни разу не проветренных комнаток.

Наконец длинный, черный, с серебряными крестами гроб, в котором лежал теперь уже совершенно на себя не похожий дядя, приподнялся высоко над головами всех и не спеша поплыл к распахнутым дверям. И все ушли за гробом, в доме остались лишь какие-то шустрые тетеньки в белых платочках, хлопотавшие с бутылками и закусками у поминального стола.

Меня на кладбище не взяли. («Нечего ему там делать», – строго сказал отец), я остался в полном одиночестве и принялся думать о дядином самоубийстве и о том, как тетя Рая со своими детьми пойдет по миру.

Самоубийство было непостижимо. Я одно лишь понял, что оно – страшный грех. Оказывалось, самоубийц хоронят не на кладбище, а на пустырях. О самоубийстве говорилось шепотом, как о преступлении, его скрывали. Дело же так выставлялось, что Михаил Васильич, простудившись, занемог, хотел выпить хинин, порылся в домашней аптечке и нашел белый порошок в пузырьке, на этикетке которого виднелся лишь кончик латинского названия «nin». Дядя, будто бы полагая, что это хинин, насыпал в рюмочку белого порошка да и выпил, а порошок оказался стрихнином. И вот так, из-за этой ошибки он и помер. А тете Рае теперь из-за этой же ошибки придется идти по миру.

Мне это особенно покоя не давало, я живо представлял себе: жаркий день, пыльная дорога, тетя как нищенка, в лаптишках, бредет с сумочкой, а за ней вереницей плетутся все мои не то шестеро, не то семеро братцев и та девица, которую дядя *призревал*. И все тоже с сумочками, и в лаптишках или даже босиком, и приговаривают жалобно: «Подайте Христа ради бедным сироткам…»

За этими печальными размышлениями я задремал в каком-то чуланчике, приткнувшись на сундуке, и не слышал, как воротились с кладбища, как уселись за стол. Меня разбудил шум в доме, я услышал, как двигают стулья, гремит посуда и разговаривают гости. Потом мама стала звать меня: «Володя! Володя! Господи, да куда ж он запропастился!» Но мне не хотелось расставаться с темным чуланом, с грустным одиночеством, и я притворился спящим. Однако меня скоро нашли и повели к столу. Мне дали вкусной рисовой кутьи с вишневым сиропом и заставили весь длинный обед просидеть со всеми.

Я с удивлением глядел, как гости жадно ели и пили и сперва сокрушенно вздыхали и негромко, пристойно переговаривались, а потом стали шуметь, и глупые шутки пошли и смех, и даже кто-то запел фальшиво: «Тройка мчится, тройка скачет». И продолжали есть все, что ни подавали тетеньки в белых платочках. А я ужасался, что этак они все сразу поедят и бедной тете Рае завтра же придется идти побираться.

С тех далеких пор я ненавижу поминальные обеды и стараюсь не принимать в них участия.

Пришло время, все окончилось, и мы поехали домой.

И снова был вагон, и звенел станционный колокол, и мелькали за окном железные мосты и красные кирпичные будки, и было все, что и прежде бывало в дороге, но радости от всего этого – нет, не было.

Да, вот именно, так мне сейчас и представляется: весело бежал семилетний человек по земле – и вдруг налетел на преграду и, больно ударившись об нее остановился, испуганный и удивленный: что это? зачем? для чего? Все перепуталось: смерть – конец жизни того человека, который назывался Михаилом Васильичем, и смерть – начало бедственной, ужасной жизни тети Раи и ее мальчишек. Смерть, наступившая от того, что сам человек пожелал умереть и выпил яд, и то, что он два часа еще жил после видимой своей кончины, «находился между жизнью и смертью», – все это поразило меня, и я все возвращался мыслями к аполлосовскому дому.

Вагонные колеса стучали, стучали, шелестел приглушенный разговор, и мне трудно сейчас сказать – во сне или наяву были эти мысли, но так или иначе, они были. И оттого и пестрота дорожных впечатлений не веселила, как прежде, а только побуждала на новые печальные и даже мрачные размышления. О собственной смерти, например. В самом деле, думал я, мало ли что может случиться сию минуту… Крушение поезда, пожар в вагоне. Или – вот только что мост проехали, а вдруг бы он взял да и провалился под нами. Или – гроза. В прошлом году у нас на лугу одного старика молнией убило… А ну как и в меня полыхнет? Конца не виделось черным мыслям, с ними и на станцию приехали.

А там было тихо и лунно. И как ни в чем не бывало поджидал нас Потапыч. Мы ехали по лесу, и было как-то очень светло от снега, от ныряющей в длинных облаках луны. Я, кажется, по всегдашней своей привычке опять задремал, уютно примостясь под безбрежной полой овчинного отцовского тулупа, но враз проснулся, почувствовал, что сани остановились.

– Чуть ли не волки, – вполголоса сказал Потапыч.

– Где? Где? – тревожно спросил отец.

– Да вон, вишь, возле квартального столба-то…

Я мигом выпростался из тулупа и глянул туда, куда показывал Потапыч. Луна скользнула за облако, в лесу потемнело, но все равно впереди на дороге, шагах в двадцати от нас, я разглядел какие-то шевелящиеся тени. Наш Серый стоял смирно. Он был единственной в селе лошадью, которая не боялась ни сычевского автомобиля, ни паровозных свистков. Видно, Серый и волков не боялся.

– Что делать будем? – просипел Потапыч.

– Да что, трогай, – засмеялся отец. – Какие это волки, это собаки, кордонские, должно… Вон у крайней – хвост калачом, я этаких волков сроду не видывал!

Я, правду сказать, сперва испугался. Сколько страшных историй о волках рассказано было зимними вечерами на наших посиделках – и вдруг вот тебе…

Но это действительно оказались собаки, и мы преспокойно проехали мимо. И тут мне в голову пришла развеселая мысль, какая обязательно приходит каждому человеку в самом начале его жизни: все плохое случается с другими, со мною же вовек ничего дурного не случится.

Об эту пору начинается самая удивительная, самая счастливая полоса моей жизни: я пристрастился к чтению.

Конечно, я и прежде немало читал, но как-то так, что от прочитанного запечатлевалось лишь действие, а люди, участники этого действия, мелькали говорящими фигурками. То есть, попросту сказать, я не умел видеть их живыми, они были как куклы, ужасно одинаковые, все на одно лицо. Они были маски. Красавицы, злодеи, отважные мальчики, бродяги, капитаны, короли и чародеи, – для каждого была своя личина, которая переходила из книги в книгу, от одного действующего лица к другому. Какие потери несла книга при таком чтении! Какие потери нес я сам!

Но вот случилось так, что как-то вдруг – не сказать чтоб разом, хотя и в самое короткое время – *я прозрел и услышал*… Боже ты мой! Какой удивительный мир открылся в чтении! Уже не тени, не куклы, не маски – живые люди окружили меня, я стал жить вместе с ними, как бы воплощаясь в них, на какое-то время становясь ими. Мне пяти еще не было, когда я научился грамоте, но умение читать пришло к восьми лишь.

Только что́ я читал!

Никто не направлял меня, круг моего чтения был самый пестрый: я все перемалывал, мне все было интересно: и «Антон-горемыка», и «Вечера на хуторе», и «Анекдоты про шута Балакирева», и «Камо грядеши», и «великосветские» романы княгини Бебутовой, и даже жития святых. Правда, иная книга оказывалась скучной, иной раз непонятной. С первых же страниц безнадежно увязнув в трясине сокровенного от меня смысла, я тем не менее пытался выкарабкаться, понять, одолеть неясность. В таких бесплодных усилиях упрямо листалась страница за страницей, книга никогда не откладывалась и обязательно бывала прочитана механически до конца, до последней строчки. Так были без толку прочтены «Жизнь Христа» Ренана, «Откровение в

грозе и буре» Николая Морозова, и еще какие-то, теперь уже не припомню. Моя книжная всеядность была чудовищна, в горячке увлечения я перехватывал через край. Читал по целым дням, читал ночами, украдкой. Терпеливо дожидался, когда засыпали родители, и тихонечко зажигал керосиновый ночничок, крохотную голубенькую лампочку, при тусклом свете еле-еле разбирая печать. Эти ночные чтения вконец испортили мои глаза, сделали меня на всю жизнь очкариком.

Но какие дивные дива я пережил! Какие удивительные испытал восторги!

Среди книжной мешанины, кипящим буруном захлестнувшей меня, особенно помню десятка два тоненьких, с тетрадку, пятикопеечных выпусков-книжечек бесконечного немецкого романа «Пещера разбойника Лехтвейса».

Каким образом это ужасное чтиво, эти нелепые книжонки в нахально-ярких бумажных обертках попали к нам в деревню – сказать затрудняюсь. Догадываюсь, однако, что чуть ли не от тетушки остались они, от Елены Михайловны, которая с сыном, гимназистом Митенькой, гостила когда-то в Углянце. Дурацкий, по-немецки сентиментальный и слащавый «Лехтвейс» однажды был обнаружен мною в чулане, в старой, изъеденной шашелем шкатулке, битком набитой всяческим мелким хламом, и так поразил меня своими тайнами, ужасами и злодействами, что, как в раннем детстве (когда был потрясен дикими, несуразными каменными страшилищами острова Пасхи), меня одолели кошмарные видения, и я стал кричать во сне.

Ах, что со мною наделал этот пятикопеечный Лехтвейс! Как сейчас вижу дрянную, рыхлую желтоватую бумагу его тощих тетрадок, серый, сбитый шрифт, слепую, небрежную печать. Но обложки…

Что за обложки!

Они, конечно, были плохо нарисованы, плохо, грубо литографированы, но как впечатляли! Черноусый злодей вонзает нож в грудь благообразного старика, и тот с неправдоподобно вытаращенными глазами падает на каменные плиты пола, и кровь алым, карминным жгутом дугою хлещет чуть ли не до потолка. Или – трое в черных балахонах, на остроконечных куколях которых жутко сверкают глазные прорези, склонились над распростертой прекрасной Лорой… И жарко дымится огромная свеча перед распятьем… Как страшно, как жалко бедную белокурую красавицу! Или еще вот: вздыбившиеся кони на мосту, над пропастью; гигант в широкополой шляпе, в черной маске стреляет из длинного пистолета в краснорожего кучера (именно,

именно такой пистолет висит на ковре над диваном у крестного!), а другой – тоже в черной маске, распахнув дверцу кареты, с галантным поклоном встречает все ту же красавицу Лору… И уж совсем нестерпимо, больно глядеть: подземелье, чугунное кольцо в стене и толстая цепь, солома вместо ложа, глиняный кувшин с водой, и снова красавица, по уже не Лора, уже другая, полуобнаженная, закованная в цепи, с кровавыми полосками – следами жестоких побоев на нежной розовой спине…

Удивительные картинки эти были как наваждение; они-то и мучили меня ночами и бог знает до чего довели бы, если б однажды отец не догадался кинуть всю пачку окаянного романа в жарко горящую печь.

Впоследствии он всякий раз, заставая меня за чтением, любопытствовал – чем это я увлекся, и, случалось, решительно отбирал книгу. Но ведь запретное всегда сладко, и я иной раз соблазнялся и, отыскав злополучный роман, тайком дочитывал его. По большей части я не понимал, что же, собственно, в книге скрыто такое, чтобы ее запрещать. Почти все запрещенное было мне неинтересно и даже скучно.

Так с некоторым запозданием начались отцовские попытки наставить меня в чтении. Он стал привозить для меня из города так называемые *детские* книжки – Чарскую, Клавдию Лукашевич, еще какие-то преимущественно дамские рукоделия, – про умненьких и добреньких пай-мальчиков и девочек, которые тем только, кажется, и занимались, что совершали достойные подражания поступки; они обладали таким невероятным количеством всевозможных добродетелей, что крылышек им разве только не хватало, чтобы называться ангелочками.

Я рассказывал, что однажды пришло ко мне умение видеть книжных героев живыми. Было подлинным наслаждением, забыв про все на свете, пребывать вместе с ними, слышать их голоса, ощущать их близость, до того отчетливо, живо воображая, что даже запахи улавливались: с Дон-Кихотом почему-то связывался приятный запах бабушкиного сундучка; от Робинзона Крузо пахло только что освежеванной заячьей шкуркой, от гуляки и враля пана Заглобы – вином и луком. Это может показаться немножко смешным, но ведь так и было, и вспомнилось сейчас потому, что к слову пришлось. Я же хочу сказать только, что лиц мальчиков Клавдии Лукашевич мне никогда не удавилось разглядеть – так они были одинаково безжизненны, так непомерно скучны и друг от друга отличались тем лишь, что один щеголял в матроске с золотыми якорями на синем воротнике, а другой носил соломенную шляпку и розовую рубашечку.

Кроме всего, сама писательница (в одной из книжек

красовался ее портрет) своей пышной прической, буфами на рукавах и припухлым, невыразительным лицом так походила на скучную, вечно стонущую и охающую тетю Раю, что одного взгляда на нее было достаточно, чтобы раз навсегда остаться при твердом убеждении, что все сочиненное этой сонной, рыхлой дамой есть скука, ложь и белыми нитками шитая нуднейшая проповедь добродетелей, необходимых для того, чтобы я сделался умненьким и добреньким мальчиком.

Итак, специально *детское* чтение не привилось, и я продолжал жадно глотать книги, написанные для взрослых.

Но мальчик уже перестал быть беспомощной щепкой в кипящем книжном буруне: появились свои пристрастия, разборчивость, что-то нравилось больше, что-то меньше, иное не нравилось вовсе. Мальчик заметно взрослел. Его вдруг охватила любовь к русской истории, кру́гом чтения сделались книги исторические, – нет, конечно, не Ключевский и не Соловьев, а Загоскин, Мордовцев, какой-то В. Лебедев, исторические романы которого ежегодно прилагались к журналам «Родина» и «Русский паломник».

Но почему же все-таки в старину кинуло, в древность? Думаю, родись я в городе, где грязные, вонючие дворы с дощатыми нужниками, где вечное тарахтение ломовых дрог и пролеток, орущие граммофоны, многолюдство вокруг да и говор какой-то чужой, как бы не русский, – и не было бы увлечения стариной, и многое из того, что таилось в скромной природе серединной России, осталось бы незамеченным. А в деревне…

В деревне травы бушевали по пояс, крутобокие облака вольно кочевали в синем небе. Еще и ковыли в ту пору водились, и седые гривы их серебряными волнами переливались под ветром.. И луга наши углянские заливные с усманскими старицами да озерками зеленели необъятно. И синяя полоса леса, и дальний монастырек, и радуга – красные ворота небес, и жеребячье ржание речного ястребка над зеркалом плеса, и конский череп, белеющий в заросли чернобыльника. – все-все как пятьсот, как тысячу лет назад, как в описаниях былинных ратных походов богатырских дружин…

А легенды об угольницах деревенских, задымившихся в Усманском бору будто бы еще в древнюю пору строения деревянной воронежской крепости… А полуразвалившаяся часовня со святым колодцем… И ветла над нею трехобхватная, старая, как сама часовня, как сам город Воронеж…

Древность, древность, первородная чистота полей и небес, сады, так буйно разросшиеся, что и домов деревенских не видать;

и песни – старинные, протяжные, на вечерних зорях, с подголосками, с тихим, нежным замиранием истовых голосов…

Как же мог я пройти мимо всей этой красоты, не заметив ее, не очаровавшись ею! Слишком крепки и надежны были корни, глубоко, прочно проросшие в родимую землю.

В русскую. В углянскую!

Тут еще надо сказать о ярких, но мгновенных вспышках памяти, которые уж не знаю, как и назвать. Озарениями, что ли?

Да, конечно: озарения.

Всю жизнь так со мною бывало, с детских лет и поныне: читаю книгу, разговариваю с другом, иду по улице, справляю какую-то работу, и вдруг – картина сверкнет, как зарница на рассвете, и враз потухнет.

Не так уж много этих картин-озарений, но на протяжении лет, постепенно умножаясь, они не тускнеют, не меняются в цвете. Нынче мне случается вдруг увидеть то, что видел (или вообразил, что видел) еще в двенадцатом, четырнадцатом, в семнадцатом, двадцатом. И я могу описать эти мгновенные видения или воображенные картины, рассказать их содержание, но той яркости, какая в некий нежданный миг озаряет, почти ослепляя, передать невозможно. Тут не только живопись, но что-то и от музыки.

Рассвет. Туман. Дремучий лес и топи.
Дым ко́стрища ночного, как струя.
Еще темно, но на вершинах копий
вот-вот огнем зажгутся острия…
Хоругви подняты. И в сумраке лиловом
зловещая, багряная заря
уже встает над полем Куликовым.

* * *

Ясна, красна заря вечерняя.
Перепела и тишина.
По всей Воронежской губернии
заря в воде отражена.
А облака, как гуси-лебеди,
как гуси-лебеди летят.
На синем небе гуси-лебеди
скликают малых лебедят.

* * *

И в глубях рек и заводинок —
куски лазурной вышины.
И взмахи крыльев лебединых
во всех водах отражены.

* * *

И когда полиняет в дождях листопад
и снежок упадет в октябре,
ты прислушайся ночью, как гуси летят.
И захочется крикнуть: куда вы? назад!
заночуйте у нас на дворе!

* * *

Над черным лесом – краешек луны.
Конь оступился и всхрапнул тревожно…
Недобрый знак. Поворотить? Как можно!
В Тригорском ждут: все свечи зажжены.

* * *

Как иступленно-ярок летний день!
В его расплавленном, дрожащем зное,
во глубине густых деревьев – тень
становится зеленой чернотою…
Но что это? В дремоту, чернь и сонь,
сошед с небес, врывается огонь:
то, кончики ушей насторожа,
кобыла ржет – так огненно-рыжа!

И еще, и еще – в этом роде что-то. Мгновения. Вспышки. Но какое же, спросите вы, все это имеет касательство к чтению книг, о чем, собственно, я было принялся рассказывать? Подумаешь – озарения! Вспышки… чего?

Вот в этом-то все и дело.

У каждого существуют такие вспышки. Они являют собою заново вдруг воображенные картины из того, что удивленно увидел когда-то, может быть, во сне даже, или из прочитанного. В этих мгновениях – тот тайный заряд поэзии, без какого ни один

человек не живет. А что в них из самой жизни и что из книг или снов – с годами трудно бывает разобрать: мы несем в себе эти озарения, как чудесный сплав того и другого.

Но вот наступил день, когда в тихое, полусказочное, уютное домашнее существование с грохотом, с бабьими воплями, с пьяным ревом ворвалась та *настоящая* жизнь, о которой я ничего или почти ничего не знал. Догадывался, конечно, постигал несовершенным своим разумом из книг, что где-то скрыто бушует она, эта незнаемая, жестокая и даже опасная жизнь, нисколько не похожая на ту, какая была мне привычна, мила и вся как есть, до крошечки, удобно размещалась в пределах нашей небольшой усадьбы.

Но жаркие, пыльные дни июльской мобилизации были днями окончательного крушения наивного, лупоглазого детства.

Горькое, пропахшее полынью и по́том лето девятьсот четырнадцатого года…

Мужики уходили на войну.

Не помню, по какому случаю (гостей ли ждали, сами ли собирались куда-то в гости), но только в день отправки *годных* на станцию с утра нарядили меня в парадный мой бархатный костюмчик с белым кружевным воротничком, в новенькие шевровые башмачки на пуговках, в длинные черные чулочки. И когда все это началось – женские причитания, пьяный загул уходящих, рычащие ливенки, нестройный рев песни «Последний нонешний денечек», – я вместе со всеми нашими домочадцами стоял возле дома и ошалело пялился на то, что творилось вокруг. Улица обезумела, ее было не узнать. Откуда взялось столько народу, столько телег, столько шума! Словно запруда прорвалась и хлынул неудержимо страшный, грохочущий поток, в котором невозможно было различить отдельных людей, своих, может быть, соседей, знакомых углянских мужиков… И в этой людской кипени одно лишь выделялось жуткое, косматое своими лохмотьями существо безногое, не похожее ни на что. Подпираясь руками, оно ползло в мягкой дымчатой пыли уличной дороги, бренчало медалями, взревывало временами… И было, наверно, так страшно и так в дикости своей необыкновенно, что расступался людской поток и все затихали, а иные и шапку скидывали и кланялись низко, крестясь широким крестом.

Он полз навстречу потоку; следом за ним пылила скрипучая телега с грязным холщовым верхом. Держа в руках веревочные вожжи, в рыжем, заплатанном азяме, сумрачно шагал у переднего колеса сивый великан, видимо, поводырь убогого калеки.

– На-ка, на, подай увечному, – бабушка сунула мне в руку пятачок. – Да иди, глупенький… иди, не бойся!

Она подтолкнула меня, и я, сомлев от страха, подошел к калеке и протянул ему тяжелый черный пятак. Из-под выцветших соломенных бровей глянули бешеные, бесцветные глаза; хриплым матерком безобразно искривился щербатый рот; грязная клешнятая рука нашарила на дороге кусок засохшей коровьей лепешки и с силой запустила в меня. Я вскрикнул, уронил медяк и с плачем убежал.

– Э, Проня, – подымая монету, укоризненно сказал сивый поводырь, – нехорошо этак-то… Зазря, брат, дитю обидел!

На папертях церквей, на шумных ярмарках и в развеселых кабаках немало толклось их тогда, этих несчастных, недавней японской войной изувеченных в боях под Мукденом, под Ляояном, на далеких маньчжурских полях. Плача и страшными проклятиями проклиная окаянную свою долю, тащились они по российским большакам и проселкам. Их жалели, их выделяли из множества других нищих, однако, щедро подав от всего сердца, тут же и забывали, возвращались к своим житейским заботам. Но вот явился на деревенской дороге как нельзя более вовремя, час в час, как грозное напоминание уходящим, что ведь и он был некогда такой же, как они, да вот что наделала с ним проклятая война… Ему, конечно, с утра не раз уже подносили, он был пьян, ожесточился, и вдруг – этот чистенький, нарядно одетый барчонок… этот его кружевной воротничок, эти шевровые начищенные башмачки…

И оскорбительный бабушкин пятак!

Не совсем, конечно, до конца, далеко не все и не умом, а скорее обостренным чувством, многое понял я в тот знойный июльский день.

Именно с войною кончились незатейливые сказки милой моей Марьи Семеновны, и принялась жизнь открывать мне жутковатую свою действительность.

Еще, правда, оставалось кое-что от прежней ярко раскрашенной картинки младенчества: рождественская елка, например, с ее пленительным запахом, с ее пестрыми хлопушками, зеркальными шарами и восковыми ангелочками; радостное до дрожи волнение при смене времен года: первый снег (он почему-то всегда ложился ночью), первая пахнущая весенней влагой проталина, островок черной земли на огороде… Красная, желтая, лиловая осенняя листва деревенских садов… Нет, еще немало радости оставалось при мне, но все чаще и чаще омрачалась она какими-то не всегда понятными, но всегда

тревожными событиями, являвшимися откуда-то извне, из того, как остров Пасхи, таинственного, но ведь в самом деле, взаправду существующего мира.

Так вдруг пожары пошли. Что ни день – слухи о пожарах, о неизвестных поджигателях. И верно, без конца брели с почерневшими лицами побирушки, жалобно пели: «Подайте, Христа ради, копеечку погорельцам…» И казалось, даже гарью тянуло из сизоватой далекой дали и словно бы сквозь мутную завесу светило тусклое предосеннее солнце.

Затем шпионами занялись. В каждом незнакомом прохожем распознавали немца. Аккуратного старичка в белой шляпке, с черным ящиком за спиной, схватили, поволокли в волость. Старичок оказался бродячим фотографом; такие, вроде него, и прежде появлялись иногда в деревне, но этот сразу же попал под подозрение («планты, сволочь, сымает!») и был отправлен в Воронеж.

Вместо наших сельских учителей Михаила Иваныча и Александра Васильича, ушедших в армию, прислали двух барышень: Антонину Павловну, девицу в летах, и совсем молоденькую – Настасью Петровну. Эту оставили без внимания, а вокруг Антонины завертелись всяческие догадки и подозрения. Во-первых, она была католичкой, из галицийских беженцев, во-вторых, носила парик. Но самым главным и решающим было то, что она иногда получала письма в конвертах, надписанных нерусскими буквами. Ее чуть ли не в глаза называли шпионкой. Когда же черной ноябрьской ночью загорелась церковная колокольня, и огонь зловеще и яростно загудел во всех трех ярусах, и с грохотом и звоном рухнули наземь колокола, – разъяренные бабы закричали: «Никто как шпиёнка!» – и стали ее искать, чтобы кинуть в огонь. Едва живая от страха, дня два она пряталась на школьном чердаке, а потом, когда поутихло, уехала навсегда.

Странные, непонятные события всё набегали, набегали, и не было им конца.

Вскоре после пожара поздним вечером к нам постучался нежданный гость. Уже стала зима, декабрьские метели неистово ломились в окна, ухали ночами в трубе, гремели ночными вьюшками. И было удивительно, что этот щуплый, окоченевший человек в стареньком городском пальтишке с потертым бархатным воротником – в темень, в чичер не сробел отмахать семь верст от станции, не заплутался, не замерз, и вот сидит, целый и невредимый, попивает чаек с маминими кренделькими да еще и посмеивается: «Это что, – говорит, – в краях туруханских и не такое случалось…» И так весело поблескивают очки, так

задорно топорщится острый клинышек бородки…

Звали его Борис Клавдич, он был товарищем отца по семинарии. Прожив у нас с неделю, он так же внезапно исчез, как и появился. После я его не видел, он никогда больше к нам не заглядывал. Много позднее, уже взрослым, я стал допытываться у мамы об этом давнем ночном госте. Она сперва не могла понять, о ком это я говорю, но наконец вспомнила. Оказалось, что Борис Клавдич был *политическим,* бежал из сибирской ссылки и долгое время петлял по России, скрываясь от полицейских ищеек. И хотя в то далекое время я ничего особенного не увидел в его ночном посещении, – он был папин товарищ, они много лет не виделись, и вот теперь он заглянул случайно, что ж такого? – но все же какая-то необъяснимая тревога и тут почуялась: она уверенно связывалась с общими тревогами, с пожарами, со слухами о шпионах…

Где-то далеко гремела железом, злодействовала война. Допотопными чудовищами ревели дальнобойные пушки. Реймский собор ребрасто чернел готическими развалинами. В закатном небе сшибались аэропланы. Художник Животовский наводнял серые страницы «Огонька» баталиями и зарисовками петроградских очередей и толкучек. Немцы изображались в касках со штырями, русские – в солдатских папахах. Люди же в очередях поражали пестротой одежды: котелки, картузы, барыни в шляпках с цветами и перышками, старушки в салопах, мастеровые в стоптанных сапогах и промасленных куртках. Но и немцы, и русские солдаты, и петроградские обыватели – все одинаково пучеглазы, все на одно лицо.

Художник Животовский мне не нравился, он и в самом деле был плохим художником. Но ведь войну-то мы узнавали лишь по журнальным иллюстрациям, и как ни плох был Животовский, все равно мы догадывались, что она страшная. И несмотря на то, что бушевала где-то далеко, за тридевятью землями, – в событиях, происходивших в нашем селе, в нашем доме, чувствовался ее зловещий отголосок.

Наконец подошел девятьсот пятнадцатый, меня повезли в гимназию, и я сделался городским жителем.

Новая, непривычная обстановка решительно и безжалостно перечеркнула последние детские радости моего бытия. Все заслонила дымная чернота войны. И как ни приукрашивали ее немыслимо яркими картинками о подвигах донского казака Козьмы Крючкова или великолепными Георгиями-победоносцами на обложках «Лукоморья» и «Солнца России», чернота

действительности настойчиво проступала сквозь самые яркие краски.

Трехцветные, сине-красно-белые флаги хлопали победно; длинные нарядные связки сосновых веток украшали вычурную арку в «стиле рюсс», построенную возле Петровского сквера для встречи государя-императора; и тот, в закрытом автомобиле, проезжая под ней, за стеклами лимузина милостиво помахивал белой перчаткой. И, выгнанные на жестокий мороз, «ура» пищали гимназисты и гимназистки И осатанело скакали жандармы, и краснорожие усатые городовые стояли цепью вдоль тротуаров Большой Дворянской улицы. И колокола всех двадцати шести церквей города Воронежа ревели празднично, оглушительными трезвонами переплетаясь с медными трубами военных оркестров… И сквозь узоры пушистого инея нежно, матово сияли золотые ризы встречающего духовенства… Все, все устраивалось для ликования, для праздника, а его-то и не было.

Жизнь все труднее становилась. Длинные очереди выхващивались у булочных Глазкова и Филиппова. Вереницы розвальней, битком набитых ранеными, тянулись с вокзала, и страшны были темные, измученные лица солдат и белые, с карминными пятнами бинты перевязок, источающих тошноватый запах йодоформа… А по дворам ходили горбоносые, закутанные в лохмотья пленные турки, кланялись униженно, бормоча непонятное, протягивали грязные, закоченевшие руки.

Была война, была гимназия, чужие люди, скука серых дней и страх перед учителями. Первая двойка в дневнике. Нехорошие слова и карандашная пачкотня на грязных стенах гимназического сортира. Я почему-то вдруг сделался толстый, все смеялись над моей толщиной и обидно дразнили *папашкой.*

Плохо мне было.

Но подождите, надо все-таки вернуться немного назад; к тем дням, когда меня привезли держать экзамен.

Мы, как всегда, остановились у «Братьев Абрамовых». Тут ничего решительно не изменилось – те же свечи, тот же гул монастырских колоколов, те же плевательницы в коридоре и спертый воздух в номерах, где форточки почему-то и зиму и лето оставались наглухо запечатанными.

Назавтра предстояли экзамены, а я к вечеру неожиданно занемог, меня вдруг затрясло. Этак и прежде случалось: ни с того ни с сего иной раз проймет, бывало, холодом, зуб на зуб не попадает, а щеки горьмя горят. «На нервной почве, – определил рыжий земский врач, от всех болезней лечивший хиной и каплями «датского короля». – В чтении мальчика ограничьте…» Он неодобрительно кивнул на книжный шкаф, на пыльного

Гоголя. Меня попробовали «ограничить», но из этого ничего не вышло.

– Ах ты ж, головка горькая! – сокрушалась мама. – Перед самыми экзаменами, вот ведь грех-то какой!

Отец сказал: «Ничего, к утру как рукой снимет…» Они растерли меня скипидаром, напоили чаем с малиной и уложили в постель. Затем немного пошептались, повздыхали, ушли за ширму и смолкли.

Стала тишина. Помню, что свечу не погасили, она осталась на столе, ее только заслонили «Крестным календарем». Не знаю, спал ли я, нет ли и сколько времени прошло в таком моем забытье, только вдруг удивительно легко, счастливо, радостно сделалось, и захотелось вскочить с постели, захотелось прыгать, смеяться…

Тихонько, крадучись, вылез я из-под одеяла, прислушался: за ширмой дышали ровно, с легким всхрапыванием. Невидимая за книгой, свеча потрескивала, оплывая. Чьи-то шаги прошаркали по тротуару за окном. В коридоре басовито пробили часы – раз… два… три… Дело шло к рассвету. Черная тень от книги как бы изгибала стену комнаты косым полусводом. И что-то в этом изгибе, в этом полумраке, в догорающей свече таилось такое знакомое, словно уже увиденное когда-то, давным-давно… а может, и не увиденное даже, а лишь пригрезившееся во сне…

И вдруг вспомнил!

Стараясь не шуметь, осторожно пробрался к столу, где рядом с гостиничной чернильницей лежали приготовленные к завтраку тетрадки, и, развернув одну, крупными буквами, с завитками и росчерками, стараясь подражать дедову почерку, вывел: ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. *Исторический роман в* – подумал и написал: в пяти частях. «Ох, много что-то в пяти!» Смалодушествовал, поправил: в трех. А затем торопливо, боясь потерять проблеснувшие в голове слова и уже не стараясь выводить красиво, а лишь поскорей, поскорей, чтоб не забыть. – «Была поздняя ночь, – написал, – за окном глухо шумел ветер… Свеча догорала…» Ну, хорошо, догорала, а что дальше? Я оробел, не знал, что же дальше-то. Какие-то мимолетные проблески метнулись из тьмы: розовая заря на копьях воинов, коленопреклоненный Дмитрий (картинка из хрестоматии), черная схима святого Сергия… скачущие навстречу друг дружке Пересвет (с лицом Потапыча) и татарин Челибей – ужасный, меднорожий, в хвостатом шлеме, в овчинной шубе, вывернутой наизнанку…

В предрассветной тишине гостиничного номера образы рушились обвально, как бы с грохотом, но не было слов. Слова

разбежались, попрятались, как цыплята в густом бурьяне. Сперва я пытался их поймать, расставить на нужные места так, чтобы сделалась картина: Сергиева келья, Дмитрий, свеча… Ночь перед битвой. Затем – утро, горящие копья и все прочее. Но нет, слова не давались никак, я утомился, гоняясь за ними, и заснул.

Рано утром отец нашел меня спящим над тетрадкой. Он ласково пожурил за то, что вскакиваю с постели в одной рубашонке. «Этак не на шутку простудишься, – сказал, – а ведь нынче экзамен. Иди-ка, брат, умывайся…»

Я загремел медным умывальником. Мне было необыкновенно весело, радостно от того, что здоров, что в окнах солнечное, уже неяркое предосеннее небо, что скоро буду носить длинные брюки и синюю фуражку с белым кантом и серебряным гербом. А пуще всего – что отец как будто бы не заметил ночную мою писанину. При дневном свете я почувствовал нелепость своей затеи, понял, что над «романом в трех частях» станут смеяться.

Но он, оказывается, все-таки заметил.

В этот день я успешно сдал экзамен по русскому языку, написал диктант на пятерку. После экзамена мы поехали на конке к Ивану Дмитричу. Крестный похвалил меня, подарил большую пачку цветных карандашей и рисовальный альбом. Возвращаясь в гостиницу, зашли в шапочный магазин Гречишкина и купили великолепную форменную фуражку.

А вечером, уже засыпая, напрочь забыв про ночное свое сочинительство, услышал вдруг негромкий разговор за ширмой.

– Вот и извольте ограничить его в чтении, – сказал отец. – когда он сам, оказывается, романы сочиняет…

Дома я каждый день слышал чистую русскую речь, привык к ней, впитал в себя ее прелесть, ее музыку, и потому рано научился не столько разумом, сколько ухом и чутьем распознавать словесную бесцветность и фальшь в языке, как разговорном, так и книжном.

На устном экзамене по русскому досталось мне своими словами пересказать из «Книги для чтения» маленькую историю про птичницу Агафью. Не припомню, о чем там говорилось (кажется, о великой любви кур и гусей к своей кормилице), но начало крохотного рассказика крепко врезалось в память: «Жила у нас птичница, ее звали Агафьей».

– Будьте любезны, изложите своими словами, – устало и, как мне показалось, брезгливо сказал курносый лысоватый старичок в синем мундире с блестящими пуговицами. – Ну-с, – он, видно, заметил мое замешательство, – смелее, смелее!

Господи, ведь как все просто было! Но я смутился оттого, что

не нашел этих *своих слов,* какими требовалось пересказать. «Жила птичница, ее звали Агафья», – для чего же искать другие слова, когда и так все ясно.

– Нуте-с, – подбадривал старичок, – нуте-с, пожалуйте: жила некогда женщина…

– Жила некогда женщина, – тупо повторил я.

– …по имени Агафья, – закивал головою старичок.

– По имени Агафья, – обморочным голосом откликнулся я.

– Прекрасно, прекрасно! И дальше?

– Ее куры любили! – в отчаянии выкрикнул я.

Старичок поморщился и поправил:

– Хохлатки нежно любили ее.

«Почему не просто – Агафья, а по *имени* Агафья? Почему не куры, а какие-то *хохлатки?* И почему о курах, как о человеке: *нежно?»* Карусель недоуменных вопросов бешено завертелась в голове. Было непонятно, зачем старичку в синем мундире обязательно понадобились эти выкрутасы? Неужели для того только, чтобы сказать *своими* словами? Но если они, слова эти, какие-то мертвые, какие-то ненастоящие…

Я махнул рукой и, перестав искать *свои* слова, отбарабанил все так, как было в хрестоматии.

– Ну вот, прекрасно-с, идите, – старичок кивнул розовой лысинкой и вызвал следующего.

Много лет спустя я узнал, что это была та самая «Птичница Агафья», первая книга, которую Маяковский прочел в детстве и которая едва не отбила у него охоту к чтению. Об этом рассказано им в автобиографии «Я сам».

Затем были экзамены по арифметике и закону божьему. С заковыристой задачкой из Евтушевского я справился довольно легко, а в «законе» запутался. Пухлый, франтоватый батюшка в переливчато-лиловой шелковой рясе и лакированных штиблетах сказал укоризненно:

– Ай-яй-яй! Стыдно, ведь вы сын священника, и тройка, которую я имею вам поставить, безусловно огорчит вашего папашу…

Я был смущен не столько плохой отметкой, сколько чуждо, не по-русски прозвучавшим *«имею вам поставить»,* а еще больше тем, что все учителя называли меня на *вы.*

С чувством откровенной неприязни вспоминаю первые дни своего гимназического существования. Темный, какой-то сумрачный, на отшибе от прочих класс под черной лестницей. В мутных окнах – деревья чахлого сада, напоминающие о вольной жизни; грязный двор, грязные сизоватые кирпичные стены

двухэтажного корпуса, построенного в виде буквы «Г»; ужасный, вонючий туннель ворот, выходивший на Большую Дворянскую…

Нынче на этом месте чистенький сквер, а на стене здания, уцелевшей от военных пожаров, аккуратная табличка о том, что в шестнадцатом – семнадцатом годах здесь учился литовский поэт-революционер Юлюс Яноцис.

Виленская частная гимназия Ичаса была эвакуирована в Воронеж, мы с виленскими гимназистами занимались в две смены. Литовские мальчики, в такой же, как и у нас, серой форме из чертовой кожи, отличались от наших нерусским говором и тем, что были потише, боялись своего толстого инспектора с густо нафабренными усами и тощего, длинного, как жердь, ксендза в черной сутане и ослепительно белых воротничках.

Конечно, и виленцы, и наши – классный наставник Аркадий Константиныч, седой, с неестественно красным, словно только что из бани, лицом, батюшка-законоучитель в лиловой шелковой рясе, в брюках навыпуск и в штиблетах, директор Недетовский, сухопарый старик в белом жилете, с золотой звездой на лацкане мундира, пестрая суматоха в длинных коридорах и на дворе, – все это была новизна для мальчика, выросшего в деревенском затишье, но почему-то новизна эта не увлекала, не радовала; от нее на всю жизнь осталось ощущение какой-то серости и скуки. И вот вспоминаю сейчас мои первые гимназические дни – и нечего вспомнить. Тоска, тревога на душе, синие вицмундиры с серебряными пуговицами, галдящие гимназисты, корявые деревья за мутным окном…

Впрочем, однажды я подрался с жирным веснушчатым мальчишкой с чудной фамилией Бойдык. Я сразу невзлюбил его, и нелюбовь эта оказалась так устойчива, что сорок с лишним лет спустя, когда писал роман о Кольцове, именно Бойдыком был назван один из персонажей самых неприятных, отталкивающих.

Гимназист Бойдык был барин, подкатывал к гимназии в собственном экипаже с надменным кучером, с провожатым стариком лакеем, похожим на отставного генерала. Кроме всего, Бойдык был провокатор и ябеда. Но вот случилось, что нам велели сидеть рядом и он, угадав мою деревенскую застенчивость и робость, постоянно донимал меня своими дурацкими выходками: то капнет чернилами на новую тетрадку, то нехорошее словцо старательно выведет в дневнике, то незаметно бумажку пришпилит к спине курточки *«сдается квартира»,* и я хожу на перемене и с самым глупым видом оглядываюсь, не понимая, чего это надо мной потешаются, пристают: «Велика ли квартира и сколько стоит»…

Как-то раз он придумал новую шутку, принялся исподтишка

покалывать меня булавкой. Я терпел-терпел да и двинул Бойдыка так, что он чуть с парты не загремел.

– Что это с вами, Бойдык? – подозрительно спросил Аркадий Константиныч.

– Кораблинов *щипается,* — жалобно захныкал Бойдык.

Бесцветным своим писклявым голосом Аркадий Константиныч сказал нам внушение, и урок продолжился. На перемене я повалил Бойдыка, сел на него верхом, а вот что дальше делать – не знал: не умел драться и так за всю жизнь и не научился. Но тогда меня все-таки именно за драку наказали: после уроков велели сидеть в пустом классе целый час. Мне было обидно, и я плакал. В окнах чернели деревья, вспоминался Углянец, вольная жизнь.

И даже хотелось умереть.

Так было заведено, что с каждым из нас, детей, поступавших в гимназию, первую зиму, пока мы привыкали к городу, обязательно жила мама.

Снималась недорогая отдельная квартира в две комнаты; в одной обитали мы, а в другую пускались *нахлебники,* то есть учащиеся, такие же, как мы сами, приехавшие из деревни. Они платили за помещение и *за стол,* и это оправдывало родительские расходы на квартиру и прочее. Шел девятьсот шестнадцатый, третий год войны, жизнь заметно дорожала, городские базары были не по средствам. И тут выручало домашнее, углянское хозяйство: раз в месяц являлся к нам Потапыч на Сером и привозил целый воз харчей.

Я трудно привыкал к городу с его пасмурными зимними утрами, с мрачной классной комнатой, со всею гимназическою обстановкой – гвалтом, кутерьмой, сортирными непристойностями, страхом перед учителями, сознанием собственной неуклюжести и робости. Город сделался каторгой, Сахалином, известным мне по страшной книге Дорошевича, в которой было множество картинок, одна ужаснее другой, и среди них – самая ужасная, где унылые люди с наполовину обритыми головами стояли, прикованные толстыми цепями к тяжелым тачкам. Город казался тачкой, к которой меня приковали навечно.

Что ж говорить, какой радостью были дни, когда появлялся Потапыч, ночевал у нас, и тут уж мы с ним говорили, говорили, и я не мог наговориться, наслушаться, насмотреться на него. Какой-то радостный уют делался вдруг с его приездом в нашей городской квартирке от его неспешных россказней, от знакомых присловий и прибауток, от самого, кажется, запаха его – овчинного, хлебного, деревенского… А на голом каменистом

дворе наш Серый, словно волшебством перенесенный из Углянца, стоял, похрапывал, похрустывал овсом, и на грязном городском снегу чернели конские яблоки и темно зеленели клоки раскиданного из розвальней душистого сена…

Потапыч уезжал затемно, когда я еще спал. И снова начиналась каторга.

Но, правду сказать, такая моя тяжкая жизнь продолжалась всего лишь месяц-другой; я, как говорили у нас, *оклемался.* И уже кое-какие соблазны и увлечения нашлись в городской жизни: пятачковые Нат-Пинкертоны, золотые перышки «рондо», гимназическая библиотека и даже первая влюбленность.

Ее звали Маргарита Зайцева. Как она выглядела? Вот хочу вспомнить, но где же! Такая даль времени… Диковинная коричневая шляпка, светло-шоколадного цвета платьице – форма частной гимназии мадам Мерчанской, запах духов «Фиалка», льняные кудряшки, кукольный румянец на щеках, милая картавость: «Воводя, мовоко, кавоши»… А может, я ее придумываю?

Мы с мамой жили в полуподвале небольшого флигеля, наши окна были вровень с землей. Маргарита – на другой стороне двора, в большом двухэтажном, довольно обшарпанном доме, который и поныне стоит целехонек на углу Манежной и Мало-Чернавской и который сейчас уже не кажется большим, и как-то даже похорошел, заботами горкоммунотдела содержится в чистоте и опрятности, и замечателен тем лишь, что шестьдесят лет тому назад в нем жила *она.*

На просторном голом булыжном дворе мы, детвора, играли в горелки, в палочку-постукалочку, в прятки, и Маргарита иногда снисходила до нас. Каким счастьем казалось стоять с ней в паре, бежать, ловить, прикасаться рукой к ее всегда почему-то холодной руке! И так, верно, смешон был толстый, неуклюжий мальчишка – на бегу, кубарем! – в яростном желании догнать, прикоснуться и замереть от восторга…

Об этом трудно и даже невозможно рассказать. От той далекой поры лишь что-то вроде озарения нет-нет да и вспыхнет в памяти неожиданно и большей частью не к месту. Как, например, в сорок первом, в войну: на окопных работах прихватила жестокая малярия, а тут ночью вдруг – трескотня выстрелов в лесной чаще; метнулся слух: десант! Нас там в лесах, под городом Глуховом, тысяч тридцать было, окопников. И случилась паника, и все – кто куда, в незнакомом лесу, во тьме… К утру выбрались на станцию Теткино, это уже в Курской области, и тут я свалился. В рассветных сумерках лежу под дощатым забором, бьет меня болезнь. И вот дождик зашумел, и сквозь жар, сквозь путаницу в

сознании слышу грохот бомбовых разрывов (теткинский мост через Сейм бомбили немцы), вижу – прямо перед глазами – серый куст полузасохшей полыни; собака в репьях подошла, лениво обнюхала мое тряпье, убежала прочь. И вдруг – ясный розовый свет, и в тишине – не скажу чтоб музыка, но что-то вроде музыки, что-то как музыка, – так явственно, чисто в воображении, детские голоса, мощенный булыжником городской дворик, веселое заклинание: «Ехал Грека через реку»… И *ее* смех, нежный, чуть с хрипотцой…

Но Маргарита ли – главное в том кусочке моей воронежской жизни, о котором идет речь? Едва ли. Главным все-таки был гимназист Фришман.

В тяжелой теплой шинели, болезненный, бледный, некрасивый, с каким-то удивительно большим, костлявым и словно бы озябшим носом, из-за малого роста и совершенной непохожести на других гимназист этот выглядел странным, непонятным, но, очевидно, драгоценным предметом, раз уж его упаковали в такой надежный, дорогой футляр, каким была ваточная гимназическая шинель с роскошным, чуть ли даже не бобровым воротником.

За хилой спиной громыхал огромный ранец с серебристой, оленьего меха крышкой. В ранце лежали, конечно, учебники – задачник Верещагина, «Живое слово», география Баркова-Чефранова, – все без единого чернильного пятнышка, все новенькие, чистенькие, обернутые цветной бумагой, с прелестными выпуклыми штампованными картинками, которые изображали неправдоподобно ярких длиннобородых гномов в алых колпаках и полосатых чулках, ангелочков и Красных Шапочек. Однако не в этих дивных картинках и не в чистеньких тетрадках гимназиста таилось волшебство: оно было в его рисовальном альбомчике. Всякий день в нем появлялось повое чудо. Нынче это смуглый задумчивый мальчик, крутые кольца его вьющихся волос вычерчены карандашом так тонко, так кругло, как, может быть, в натуре и не бывает; и белый отложной воротничок рубашки лежит мягко, небрежно, чуть ли не ветерком колеблем… Кулачком подперев щеку, глядит мальчик задумчиво да странно так: и соколино зорко, но в то же время – сонно, невидяще. «Пушкин! Пушкин!» – радостно узнавали мы.

А назавтра – другое в альбоме, новые чудеса, и еще, и еще, всякий день. Одни мы узнавали – знаменитые лица (Петр Первый, Гоголь, дедушка Крылов), знаменитые сооружения (Эйфелева башня, Кремль, египетские сфинксы); но вдруг являлось такое в альбомчике, что дух захватывало, заставляло умолкать,

столбенеть в недоумении и страхе: разинув клыкастый рот, косматый пеликан пожирал крохотных человечков; или какой-то темнолицый, полунагой старик с крючковатой бородою, в блестящем шлеме, сидел равнодушно, скучающе ковырялся копьецом в куче отрубленных голов, и еще другие головы лежали у его ног кругом, в черных лужах, на каменном плиточном полу, на ступенях лестницы, всюду…

Видя мою растерянность, Фришман снисходительно улыбался синеватыми губами и, указывая на людоеда, сообщал кратко: «Сатурн, пожирающий своих детей», а про старика с копьецом – и вовсе два слова: «Царь Иууй». Но сколько непонятного, таинственного, жуткого таилось в этих двух словах!

Помните, я сказал: каторгой была гимназия. Что ж, она, верно, такой бы и окаменела в моей памяти, если б не Фришман. Его рисование открыло мне далеко не всем видимую дверь в удивительный мир художества. Он примирил меня с безрадостной гимназической и городской жизнью. Слабый, болезненный, именно он сумел разбить тяжелые цепи, какими я был прикован к ужасной каторжной тачке.

Непостижима сила художника!

Девятьсот шестнадцатый год завершился убийством Распутина. Из этой поры помню листы газет с белыми цензурными плешинами, бумажные марки с портретами царей (вместо серебряной монеты), новый кинотеатр *(синематограф)* с печальным названием «Увечный воин» (это где нынче «Пролетарий»), множество плакатов военного займа, (витязи в шеломах, боярышни в кокошниках), но главное – шушуканье, шушуканье везде – дома, на улице, в магазинах, в вагонах конки, на скамеечках скверов. Что-то с военными делами становилось неладно, недобрые слухи зловеще ползли – об измене, о проигранной войне, о близкой какой-то катастрофе…

С фронта, с «театра военных действий», как тогда говорили, приехал мой крестный Иван Дмитрич, теперь уже полковник, и мы с мамой пошли к нему в гости. Мне всегда было интересно в его небольшой квартире на Мало-Садовой, я с увлечением рассматривал развешанные по стенам картинки, листал многочисленные альбомы с открытками (он коллекционировал исторические и охотничьи сюжеты), любовался его охотничьим снаряжением.

В тот день, когда мы с мамой явились к крестному, у него были гости, пили чай, вели скучные разговоры: затянувшаяся война, нехватка продуктов, убийство Распутина. С оглядкой на дверь сообщались все новые и новые подробности – пирожные с

ядом, шестнадцать пуль в теле и прочее. Меня это нисколько не интересовало, об отравленных пирожных и пулях где только не говорилось, мне было невтерпеж слушать пустопорожние разглагольствования собравшихся. Однако несколько странных слов крестного заставили навострить уши. Он сказал:

– Что ж вы хотите, господа, продали немцам Россию-то… Теперь вот-вот событий надо ждать.

И тут я узнал невероятное: Россию, оказывается, продала жена царя – императрица, востроносая дама с колючими глазами, чистокровная немка.

Когда мы возвращались домой, я спросил у мамы – почему же, если императрица такая негодяйка, ее не прогонят?

– Ах, боже ты мой! – встревожилась мама. – Раскричался на всю улицу…

Она решительно обрывала разговор, но мне еще и про *события* хотелось разузнать. И я спросил:

– А про какие события крестный сказал?

– Да ну тебя совсем! – с досадой отмахнулась мама.

Дома, на Мало-Чернавской, я пристал со своими вопросами к Шуре Макаревскому, гимназисту восьмого класса, жившему у нас «на хлебах».

– А ты что, – удивился он, – не знаешь, какие события?

Я сказал, что кабы знал, так не спрашивал бы.

– Эх ты, карапуз! – презрительно усмехнулся Шура. – Какие события… Да революция же, понял? Ре-во-лю-ци-я!

Но ничего такого не происходило, событий не оказывалось. Была масленица. На обложке журнала «Солнце России» в желто-багровых тонах красовалась щекастая баба с блюдом, полным дымящихся блинов. По всей России скакали яростные тройки, гремели бубенцы и колокольчики, шло великое гуляние. Правда, масленица девятьсот семнадцатого была куда потише против прежних. Но все равно, скакали с бумажными цветами в гривах, с гулкими погремками, и гуляющие на Большой Дворянской узнавали: серые в яблоках – богатого заводчика Рихард-Поле, вороные – барыни Хорошиловой, сычевские – гнедые. Снег взрывался под копытами храпящих рысаков, комьями летел к тротуару; лиловые, голубые, розовые сетчатые попоны трепетали, пластались за могучими крупами раскормленных, застоявшихся лошадей…

А все оставалось по-прежнему.

Учитель пения Филипп Капитоныч пробовал на уроке голоса, отбирал мальчиков для хора. В числе прочих и я оказался отобранным и даже особо отмеченным. «Ну, брат, и дискантище у тебя! – удивился Филипп Капитоныч. – Чистая дудка!»

На масленой неделе в гимназии был вечер. Старшеклассники с подвыванием декламировали апухтинского «Сумасшедшего» («Все васильки, васильки…») и «Сакью Муни» Мережковского, вещи обязательные для всех гимназических вечеров. Хор, и в нем я со своим пронзительным дискантом, под управлением Филиппа Капитоныча (он важный, в синем мундире, со шпагой, золотым эфесом торчащей из кармана), – сотней юных глоток взгремел «Многи лета, многи лета, православный русский царь!» А затем грянули серебряные трубы гимназического оркестра и закружились в вальсе, затопотали, заскакали в мазурке, запрыгали в полечке. И мне было грустно от того, что я маленький и толстый, что прелестные гимназистки не обращают на меня внимания, а какой-то тонконогий офицерик в сапожках с кокардочками на блестящих голенищах толкнул меня небрежно: «Ну-ка, посторонись, малыш…» И как же мне горько показалось, что я такой никому не нужный и неприметный в своей форменной курточке из прочной чертовой кожи; и что долго мне еще придется вырастать из нее, пока не сделаюсь большим, вот как франтоватый верзила-гимназист о нафиксатуаренным пробором, в стремительном вальсе пронесшийся мимо с белокурой «мерчаночкой», уж не с Маргаритой ли? Это светло-коричневое платьице… этот нежный запах фиалки… И что-то больно сжало в груди под серой курточкой, и сделалось трудно дышать.

Через несколько дней после гимназического вечера стало известно, что царь отрекся от престола, что в России началось то самое, о чем таинственно сказал мне Шура Макаревский: ре-во-лю-ци-я. Прошел слух, что Николай Второй арестован, что петроградские городовые прячутся на чердаках, что вместо полицейских заведена теперь *народная милиция,* которая именно тем и занимается, что вылавливает городовых и сажает их в тюрьмы.

Но пока это были только слухи. Какое-то время в городе у нас оставалось все по-прежнему: те же очереди у булочных, тот же великопостный звон в церквах, те же пленные-побирушки, и даже зверовидные жандармы у подъезда губернаторского дома – все те же.

Наконец и до нас докатилось. Исчезли городовые, пришли петроградские газеты, на шубах городских обывателей зацвели алые ленточки; Шура Макаревский на рукав гимназической шинели нацепил белую повязку народной милиции. В актовом зале нашей гимназии, на том месте, где вчера еще возвышался парадный портрет государя-императора в горностаевой мантии,

нынче висела пустая рама: государя сволокли в подвал.

Ранняя весна девятьсот семнадцатого весело шумела митинговыми речами, криками «ура», духовыми оркестрами и голосистыми песнями, до этого запрещенными, крамольными, знакомыми большей частью лишь понаслышке. «Марсельеза» гремела всюду – на шествиях-демонстрациях (они в те годы назывались манифестациями), на митингах, на многочисленных собраниях.

А ведь я хорошо помнил, как однажды мама, любившая побренчать на пианино, купила на какой-то распродаже старые пьески для фортепьяно, переплетенные в толстую тетрадь, а там вдруг среди всяких невинных «молитв девы» и «полек-бабочек» оказался листок с нотами и словами «Марсельезы». Боже ты мой, что за тревога в доме поднялась! Причину ее я по малолетству не разумел – что ж такое, ноты и ноты; однако, прислушавшись к разговорам старших, уловил словечко «нелегальные». Листок с нотами был, оказывается, *нелегальный,* запрещенный. Встревоженные, испуганные, переговаривались с оглядкой: ну как дознаются? Что будет? О ту пору случившийся в доме Михаил Иваныч, наш сельский учитель, сказал загадочно, непонятно:

– За Можай угонят…

И помню, жутковато тогда мне сделалось: что за Можай? Где он? Возьмут действительно, да и угонят… И ведь, кажется, совсем недавно такие страхи мог вызвать нелегальный листок! А нынче горланили, не таясь, во всю глотку: «Мы не чтим золотого кумира, ненавистен нам царский чертог!» И алые бантики, алые ленточки всюду – на пальто, на шляпах, на картузах.

Возле бронзового Никитина митинги были особенно часты и многолюдны. Самого Ивана Савича разукрасили красными бантами. Весенний ветерок шевелил, трепал кумачовые ленты, и суровый памятник словно бы сам шевелился. Всюду только и слышалось: свобода! свобода! И всем было необыкновенно весело, все ликовали, а я по-прежнему каждое утро с неохотой тащился в распроклятую гимназию и никакой свободы и радости на себе не испытывал. Больше того, пошла полоса огорчений: именно в эти дни меня наказали за драку, а там и первая двойка украсила дневник.

Но, слава богу, подошли каникулы, и мы перебрались в деревню.

Лето семнадцатого года ознаменовалось страстью к рисованию. Альбомчик гимназиста манил попробовать собственные силы в искусстве изобразительном, – не выйдет ли и

у меня так же. И, как при сочинительстве стихов вдруг разом возникла любовь к тетрадкам и чернилам, так и с желанием рисовать с первых же шагов увлек материал – дивные лепешечки акварельных красок, карандаши, толстые листы александрийской бумаги. Запах карандашной древесины прямо-таки опьянял, плотная бумага, раскатываясь из свитка, не шелестела, а издавала особый какой-то звон, от которого сердце заходилось в восторге. Вечером, засыпая, сладко было думать, что вот наступит утро и, отточив карандаш и отрезав от большого листа нужный мне кусочек, засяду за рисование. Но всякий раз, оставшись один на один с листком чистой бумаги, испытывал я странное чувство, похожее на страх: а получится ли? Это чувство на всю жизнь осталось, чистый лист и нынче, пишу ли, рисую ли, наводит оторопь; и даже когда уверен в себе – все равно привычный холодок страха внутри нет-нет да и кольнет: а вдруг?..

Летом семнадцатого я открыл несметное сокровище. Однако тут придется немного рассказать о чердаке. Я его темноты, его особенной тишины с детства боялся. Причиной этого, конечно, были и бабушкины россказни об авсенёвской мельнице, и то многое, что доводилось слышать от других: кто-то когда-то повесился на чердачных стропилах, к кому-то грабители проникли через слуховое оконце… Опять же в ненастье, бывало, прислушаешься ночью – боже ты мой, какая там кутерьма творится! Что-то хлопает, бухает, словно ходит кто по потолку, и так именно, как бабушка рассказывала, сквозь потолочные щели песок сыплется. Отец прислушается: «Опять дверцу запереть забыли…» Но поздно, темно, лезть на чердак ему, видно, неохота. «Ах, так это дверца, – успокаиваюсь, – всего лишь дверца…» Но вот – поздняя ночь, все спят, и обступают сомнения: а ну как не дверца? А ну как…

Там запах стоял удивительный – особенный, чердачный. Он шел от слежавшейся, пересохшей земли, от печного борова, от пучков мяты и связок веников, развешанных высоко, под самой крышей. Еще нагретым кровельным железом пахло и чем-то острым, не домашним, чуть ли не мышами. Словно корабельные снасти, тянулись, переплетались бесчисленные бельевые веревки. В распахнутое слуховое оконце виднелись зеленые верхушки деревьев, они раскачивались под ветром, ходили, как волны, и славно было воображать, что ты и впрямь на корабле и зеленое море под тобою; что вон, вдалеке, рига и стог сена и избы деревенские – как острова, проходящие мимо…

Детские страхи рассеялись. Осмелев, я принялся обследовать темные чердачные углы. Сперва ничего любопытного не

находилось: старая прялка, ворох клепки и ржавые обручи от рассохшейся кадушки, надтреснутая деревянная ступа, рваные тряпичные половики… И вдруг – в дальнем, самом темном, углу, – грубо сколоченный ящик, доверху набитый бумажным хламом.

В нем-то именно и находилось сокровище.

Первое, что мне попалось на глаза, были две книги большого формата, сшитые тетрадями. Длинные строки стихов и страшные картины удивительны, непонятны: среди огромных стволов уродливых деревьев – человек в длинной, до пят, одежде, – крючконос, изможден и, кажется, испуган; он озирается тревожно, да и как не оробеть: пантера и лев крадутся за деревьями… Нет терпения листать по порядку, открываю в середине… Боже мой, что это? Вихрем подхваченные, обнаженные тела, как осенние листья, несутся в черноте, и острые скалы вокруг… и я слышу, слышу стоны несчастных! И снова – угрюмая чернота фона, снова непостижимое: чудовища, звери, кипение человеческих тел… Какая страшная, удивительная книга!

В потемках деревенского чердака была прочитана бессмертная поэма. Она потрясла, нет, она раздавила меня, хоть я и сотой доли не понял из того, о чем пели тягучие троестишия, длинные, как медленные звуки ночного колокола… «На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий…» Начальные строки эти врезались в память на долгие годы, всю жизнь звучат, не умолкая.

Поэма была открытием; мрачные гравюры с их тончайше вырисованными подробностями адского обихода создавали впечатление, говоря нынешним языком, документальности, – вот это-то особенно завораживало, на долгие часы приковывало и к стихам, и к картинам. Я ошалел и то кидался рисовать, то старательно переписывал стихи, но строчки терцин лезли вверх, вниз, а великолепные создания Доре превращались под моим карандашом в кривобоких уродов.

Спросить меня сейчас, зачем все это делалось, – нет, не смогу ответить, но ощущение необходимости тогдашнего бесплодного труда и до сей поры во мне живет. Зачем? А бог весть, но, видно, не делать этого было невозможно.

Отец заметил мое смятение. Он был неприятно поражен, когда увидел в моих руках «Божественную комедию»; поморщившись, спросил:

– Да ты хоть понимаешь ли, о чем здесь речь?

Я промолчал. Я был занят фигурой Харона в ладье, – что-то никак не давался мне этот костлявый, зловещий старик.

Отец повторил вопрос.

– Чего ж не понимать? – глупо хорохорясь, ответил я.

– Но ведь тут все – иносказания…

Я рвал резинкой бумагу, страдал, томился. Извел цельный карандаш «Фабер номер два», но в конце концов Харон получился довольно сносно.

– Смотри-ка! – удивился отец.

И я, польщенный, продолжал одолевать мрачные картины Доре и звонкие Дантовы терцины в посредственном переводе Ольги Чюминой.

Так все лето семнадцатого года и прошло. И как-то мимо меня протекали события, лишь обрывками разговоров застревая в сознании.

Приехал на каникулы старший брат, он заканчивал медицинский факультет Харьковского университета. Увидел мою пачкотню, похвалил: «Вот так Володька!» Я, конечно, расцвел, однако он больше не заглядывал в мои листочки, целыми днями пропадая то на Усманке с удочками, то в селе, навещая бесчисленных своих пациентов.

В течение дня все чем-то были заняты, разговоры затевались вечерами; и хотя меня они нисколько не интересовали, эти разглагольствования, краем уха все-таки иной раз ловил слова: «учредительное собрание», номера каких-то списков, «бескровная революция», «темные силы», «кадеты», «большевики», «эсеры»… Однажды оказался свидетелем жаркого спора между братом и лесничим Петром Иванычем. Этот Петр Иваныч был толстовец, непротивленец; он вечно улыбался, не употреблял в пищу мяса, что, однако, не помешало ему вогнать в гроб свою тихую, безответную жену.

– Расчудесно! – улыбался лесничий. – Полгода, считайте, как революция, а ни междоусобиц, ни братоубийственных войн! Где, скажите, в каких краях возможно подобное? Вот она, матушка-то наша, святая Русь. Вот он, народ-то наш, богоносец!

– «Богоносец»! – брат насмешливо фыркал, снимал и протирал пенсне. – Бескровная революция… Вы еще увидите, какую кровушку пустит этот ваш богоносец!

В конце лета вдруг Сычев появился в доме. Его имение (в нем сейчас санаторий) было расположено всего лишь в версте от Углянца, в зеленой, живописной луговой низине. В селе он всегда появлялся в автомобиле, все село, бывало, сбегалось поглядеть на квакающее в рожок, громыхающее чудище. Но в тот вечер Сыч пешочком припожаловал, да и не по улице, а как-то словно хоронясь, задами, огородами…

– Ну что, батя, – раздраженно обрушился на отца, –

доигрались, допрыгались со своими учредиловками да «Марсельезами»?

– Позвольте, – сказал отец, – не совсем вас понимаю…

– Да что же понимать-то? Фулюганство, и ничего больше. (Он произносил: куфарка, фост, куфня.) Запрошлой ночью все стекла в усадьбе побили… Того гляди, самому шею свернут! Ну, да это ладно… это мы еще поглядим-с! Я ведь, батя, чего притащился-то…

Он увел отца в сад, и они там с полчаса пробыли. Не заходя в дом, Сычев, так же как и пришел, исчез тайно, задами, тропинкой через огород.

– Чего это он? – встревожилась мама.

Отец усмехнулся.

– Кое-что из вещичек припрятать упрашивал.

– Вот тебе на! А ты что?

– Да что: отказал.

– То-то. Чего уж нам в ихние дела встревать…

Так незаметно сентябрь подкрался, листва в садах запестрела. Пришла пора ехать в город, снова тянуть безрадостную гимназическую канитель. Грустно мне было расставаться со своими тетрадками, в которых теперь уже стройными башенками громоздились чисто, старательно переписанные троестишия великого флорентинца.

С Густавом Доре расставаться, с его страшными картинами. С каким-то странным, непонятным, почему-то тревожным летом семнадцатого года.

И вот однажды наступило утро, засвистел паровоз дачного поезда, замелькали, закружились в окне вагона первым красноватым золотом тронутые осинки…

Прогремели железные отроженские мосты.

И нас с сестрой Лелей определили *на хлеба* к чужим, посторонним людям.

Там омерзительно орал граммофон.

Там бесстыдница в японской распашонке тарахтела на разбитом пианино, и лысый господин, смешно притопывая лакированным копытцем, завывал:

Ты хочешь знать, зачем теперь
Я умираю? О, поверь,
Что страсть к тебе
Мне сердце гложет…

Там мне пришлось спать на клеенчатом диване. Со скользкой клеенки сползала простыня, и я просыпался от холода. В комнате

был странный, какой-то шевелящийся полумрак. Это шевеление происходило оттого, что уличный фонарь постоянно раскачивался и трепетали деревья за окном под ровным, никогда не затихавшим ветром. Бывают такие удивительные сквозняковые места; красный казенный дом дорожного мастера стоял на таком именно настырном ветродуе.

Непривычно и даже враждебно было все кругом – ночь, беспокойные тени на потолке, свистки паровозов, какая-то бестолочь в самом житейском обиходе суматошного семейства, куда нас с сестрой определили. Вечно тут толклись какие-то пестрые, проходные люди – великовозрастные гимназисты, бывшие студенты, гарнизонные офицеры, артисты-любители, молодые железнодорожники и даже штатский генерал из поляков, и даже пожилая таборная цыганка Капитолина Андревна.

Сейчас мне нетрудно понять, что их всех, таких разношерстных, собрало здесь, в так называемой *полосе отчуждения,* в казенной квартире дорожного мастера, человека доброго, смирного, далекого от той фальшивой «изячной» жизни, которою жили и наслаждались его домочадцы и бесчисленные пестрые гости. Конечно, одной из главных причин был постоянный самовар и обильная еда на столе, – обстоятельство немаловажное по тому времени, но самое главное, пожалуй, было не это: главное заключалось в страхе перед надвигавшейся катастрофой, перед взрывом, грозившим разрушить всю их комнатную, ничтожную жизнь с придуманными красивостями: в литературе – с пошлыми романами княгини Бебутовой и Брешко-Брешковского, в музыке – с вальсом «Осенняя грусть» и романсами госпожи Вяльцевой, в живописи – с боярышнями и головками Константина Маковского и пейзажами Клевера-отца (в богатых золотых рамах, разумеется). Скажу кстати, что в девятнадцатом многие из этих «приверженцев прекрасного», наспех уложив тощие чемоданишки, поплелись со шкуровскими обозами в отступление и закончили свое бесталанное существование в эмигрантских трущобах Стамбула, Белграда и прочих приютах беглецов от русской революции.

Итак, в квартире дорожного мастера все тарахтели на пианино, и распевали из репертуара модного Морфесси, и декламировали апухтинскуто «Вазу разбитую». И еще граммофон был, черные пластинки с пишущим амуром на круглой этикетке, ужасные, хрипло картавящие еврейские анекдоты и пронзительно, жестяно завывающие романсы «Спи, моя девочка» и «Дитя, не тянися весною за розой»… Этот последний двумя годами позднее

на пыльном тамбовском большаке под скрип ордынских телег, как старый знакомый, будет услышан мною и крепко врежется в память на многие годы…

Но хуже всего были паровозные свистки, шевелящаяся тьма и холодная клеенка дивана.

В эти безрадостные часы долгих осенних ночей, в часы одиночества, – кем только не вообразил себя! Изгнанником с Чертова Острова (был вальс «Звуки с Чертова Острова», рисунок на нотной обложке: скалы, море, черной тенью – одинокий страдалец), невольником с римской галеры (опять-таки какая-то картинка маячила в памяти)… Словом, по дому, по деревне, как чеховский Ванька, тосковал нестерпимо, до слез; в воображении вызывал милые призраки сельского домашнего уюта, сельской природы; красная осенняя заря сквозь черную сеть голых деревьев, золотые города, жарко, переливчато пылающие печи, крохотная комнатка моя, где на старом, шатком ломберном столике – драгоценные сокровища: сшитые суровой ниткой тетради, листочки с исковерканными гравюрами Доре. «На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий»…

Но все рушится, исчезает, обрывается. За окном – злобные, отчаянные, свистки маневрушек, тусклый фонарь, шевелящиеся тени на потолке. А за стеной – у хозяйской жены, у «милочки», как ее все называли, не глядя, что время за полночь, бренчит пианино; лысоватый господин, бывший актер, притопывает копытцем, десятый раз начинает одно и то же:

Дивный те-е-рем сто-и-ит… —

и словно давится вдруг; а вместо него начинает настырно, гнусно картавить граммофон: «Слушайте, Рабинович, где ви такой рэдьке покупали?» И офицеры с путейцами ржут стоялыми жеребцами; и «милочка» верещит: «Господа! Господа! Тише, господа… Начинаем, Григорий Иваныч! И раз… и два…» И снова – «дивный терем», и снова – граммофон и жеребцы…

И снова – каторга, каторга нескончаемая!

Но вдруг случилось нечто великое: рухнули тюремные стены, оковы пали, и я оказался на свободе.

Вот что произошло.

Был конец октября, серенькие подслеповатые дни, длинные, безобразные ночи. Была обыкновенная каторжная жизнь, скучно текло равнодушное время. Люди как бы уже привыкли к тому, что

произошло в феврале, что Россия уже не монархия, а республика; привыкли к быстротечным митингам, к смешным, игрушечным деньгам – «керенкам», к плакатам об Учредительном собрании; к хлебным очередям привыкли, к новым словечкам: мура, буза, к глупому «пока» вместо «до свидания»; к печальному Никитину с алыми бантами на зеленоватом бронзовом сюртуке…

Впрочем, банты полиняли за лето, выцвели; их изначальный цвет угадывался с трудом.

Но чаю российские жители по-прежнему пили много, только вместо сахара уже вовсю употребляли горьковатый порошок под названием *сахарин.* Так же и в разговорах застольных вместо бесшабашных здравиц «за бескровную революцию» да «за победу святого дела над темными силами» пошли тревожные сомнения: да полно, бескровная ль? И так ли уж свято дело? Кроме всего, из Петрограда, в газетах, а больше в россказнях и слухах, перевранных, как при игре в «испорченный телефон», доносились кое-какие вести, в которых все чаще и чаще упоминалось имя *Ленин.* Какими-то путями вести эти достигали и нашей казенной квартиры, но в таком искаженном, перевранном виде, что уразуметь истину уже и вовсе оказывалось невозможно.

Дорожному мастеру было не до политики, день-деньской он мотался на своем путейском участке, чтобы как-то обеспечить «милочке» ее чаи да сахары, а вечером шуршал за дощатой перегородкой служебными бумажками. В «салоне» по-прежнему пели и декламировали, но какая-то тревога и здесь чувствовалась все острее: гарнизонные офицеры заглядывали пореже, одни гимназисты толклись да певучие девицы, ну, и, конечно, развязный господин с лакированными копытцами, бывший оперный актер Григорий Иваныч.

В один из вечеров вся эта шумная ватага отправилась в театр. Кто-то принес случайные, дармовые билеты на «Горе от ума» (Орлов-Чужбинин! Горская!): «Скорее, скорее! Опаздываем!» – и засуетились барышни и «милочка», запахло утюгом и духами…

И вот – тишина в доме, чудесно, и во всей квартире лишь мы одни – я и мастер. Он, видимо, тоже радовался тишине и то принимался мурлыкать что-то из божественного за своей перегородкой, то яростно крутил ручку телефона, кричал: «Отрожка! Отрожка!» И подолгу балагурил о пустяках с таинственными *пэче, энша, дээс* и прочими железнодорожными невидимками. А я…

Но тут особое дело. Тут придется рассказать о том, как я, мальчик тихий, послушный и совсем не озорной, преступил запретную черту, не рассуждая, не страшась последствий, преступил легко и даже с восторгом, как если б велел горе:

«Расступись!» – и она расступилась бы.

Франтоватый реалист Валерик, избалованный первенец нашей «милочки», признавался всеми как заправский художник: у него был изящный этюдник, складной мольберт, какие-то удивительно красивые дощечки и картонки, на которых он легко, играючи, изображал ландшафты с огненно-золотистыми закатами и зеркальной водой. Он на первых же порах сказал мне, указывая на этюдник:

– Тронь только, голову оторву!

Этак со мной никогда не разговаривали, и мне сделалось не то чтоб страшно, а как-то обидно, оскорбительно. Тем более что и в мыслях не было у меня прикасаться к этому прелестному ящичку: еще крестным Иваном Дмитричем мне был внушен священный трепет перед масляными красками, и я отлично понимал, что пока мой удел – «Фабер номер два» и акварельные пятачки на картонной палитре. А масляные краски…

– О-о! Масляные краски! – почти с ужасом произносил крестный. – Это, брат, требует специальных познаний, э-э… техники!

Но вот я глядел, как Валерик бойко мажет на кусочке полотняной кальки, и волшебно вдруг под кисточкой вырастают сосенки, лиловая тропинка в траве, избушка под красной черепицей, апельсинового цвета закатное небо… «Что ж тут трудного? – размышлял я. – Так все просто, и никаких специальных познаний не нужно…» И чем тверже укреплялся в своих мыслях, тем неодолимее тянуло попробовать самому.

Не знаю, как это случилось, но когда все стремглав помчались в театр и в доме наступила тишина, нарушаемая лишь телефонными заклятьями мастера, я, нимало не раздумывая, откинул крючочки этюдника, вырвал из рисовальной тетради лист и принялся малевать. Я старался делать все так, как делал Валерик: из тюбика выдавил на дощечку несколько червячков самых красивых красок – красную, оранжевую, лазурную, желтую (землистых я не любил), наскоро начертил карандашом на вырванном листе бумаги деревце, домишко со скворечней и смело мазнул оранжевый закат. Черные, безобразные потеки масла поплыли по бумаге… Я бросил кисть, в ужасе отшатнулся… Что это? Откуда такая отвратительная грязь?

И тут что-то захлопало на улице, странно как-то, ни на что не похоже, вразнобой, и то, казалось, прямо под окнами, а то где-то далеко, в стороне тюрьмы.

– Да ведь это стреляют! – испуганно вскрикнул мастер. Я услышал затем, как он принялся крутить ручку телефона:

– Пэче! Пэче! – звал тревожно и снова крутил, и снова звал,

но телефон безмолвствовал, Пэче не отзывался.

На тугом блоке взвизгнула дверь. Стуча сапогами, ввалился Степачок, крохотный мужичишка, который состоял при мастере, топил в доме печи и разносил служебные бумаги. Он грохнул в передней беремя дров, высморкался и сказал:

– Ну, пошла дело…

– Что, Степаша? Что? – мастер продолжал остервенело крутить телефон. – Что там такое?

– Што, што… Ребяты, вишь ты, прибегли с казармы, болтают: революция.

– Что ты несешь, бог с тобой! Какая революция? Весной-то что было, по-твоему? Не революция?

Степачок не сразу ответил, раздувал тощее пламя, дрова были сыроваты, сипели.

– Вот, – сказал я, подсовывая в печку ужасную свою пачкотню. Промасленная бумага вспыхнула, дрова загорелись враз.

– Ловко! – похвалил Степачок. – Дак весной-то… – Достал кисет, не спеша свернул цигарку. – Весной, значит, как-скть, на живую нитку исделали… А нонче уж, стал быть, форменно. Подчистую.

Снова захлопали выстрелы; паровозы, перекликаясь, закричали пожарную тревогу. Степачок прислушался.

– Пойтить поглядеть, – сказал сам себе, ни к кому не обращаясь. – Дела-а, господи твоя воля…

– Вот наказание! – чертыхнулся мастер. – Телефон не работает… И наших, как на грех, нелегкая в театр понесла!

Накинув шинель, он убежал вслед за Степачком.

Я аккуратно сложил тюбики в ящик, поставил все на место, а дощечку и кисть, испачканные красками, кинул в разъяренную, жаркую печь.

И щемило во мне чувство обиды за свою неудачу. Техника и знание оказывались не пустыми словами.

А утром привычными переулками, с отвращением и тоской, поплелся я в гимназию. Но на улице хандру как рукой сняло: там было весело, необыкновенно. Необыкновенность эта и в тихом Тулиновском переулке (сейчас – улица Комиссаржевской) угадывалась, а уж на Дворянской…

Подпрыгивая на щербатой мостовой, протарахтел грузовик, битком набитый какими-то людьми. Я разглядел, что многие держали в руках ружья. За первым – другой, третий… И опять, как ночью, где-то застучали выстрелы, галки взвились над старыми тополями, загалдели. Двое офицеров, придерживая шашки, перебежали через улицу; воровато озираясь, шмыгнули в глубокие ворота самофаловской гостиницы.

Из-за угла пожарной части показалась пегая лошаденка с плетеным коробом. Угольщик (конечно, наш, углянский) раза два сипло крикнул: «Уголь-ё-ов! Уголь-ё-ов!» – и замолчал, остановился, сообразив, что нынче, видно, в городе не до чаев-сахаров будет.

Лениво переговариваясь, хмуро, шажком проехали кавалеристы; приятно, по-деревенски, запахло конюшней. В

воротах гимназии двое стояли, спешившись, покуривали, словно дожидаясь кого-то. К ним подошел швейцар наш старик Федотыч; в форменном картузе с золотым галуном, в черной ливрейной шинели, он выглядел торжественно, празднично.

– Какие дела, господа драгуны? – спросил.

– Дела идут, контора пишет, – равнодушно отозвался один. Другой молча поплевал на окурок, поправил седло.

– Айда, что ли?

Они не спеша выехали на Дворянскую.

– А ты чего? – Федотыч строго поглядел на меня.

– Я на занятия…

– Какие занятия!

И верно, занятий не было. Учителя ходили озабоченные, все к чему-то прислушиваясь, поглядывали в окна. Растерянность чувствовалась в них.

Однако что-то ведь надо же было с нами делать, и учителя разбрелись по классам. Мало-помалу начались обычные будни. В нашем классе оказался пустой урок – немецкий. Вместо немки было чтение. Словесник наш Владимир Захарыч, всегда веселый, улыбающийся, франтоватый, с кошачьими усиками, принялся читать вслух что-то, помню, смешное, чуть ли не «Судный день» Короленко. Но на улице снова защелкало, теперь уже привычно, никого не удивляя. И вдруг – совсем рядом, будто за стеною, в саду, как-то странно затарахтело, словно палкой по частоколу.

– А ведь это пулемет, – прервал чтение, насторожился Владимир Захарыч. – Одну минутку, господа…

Он удалился поспешно, долго не возвращался, и гимназисты, соскучась бездействием, уже затеяли было беготню по партам, стрельбу из бумажных трубочек, но тут вошел сам директор Недетовский и велел всем расходиться.

– Но только, ради бога, друзья, не бегайте по улицам, а прямо домой, – сказал он. – В городе беспорядки…

Вечером в «милочкином салоне» стояла тишина. Кто-то вздумал завести граммофон, разудалую пластинку, какую-то цыганскую, с присвистом, с рыдающими воплями, но тут же разом и оборвал: в дверь постучали. Бледный, насмерть перепуганный, вбежал Григорий Иваныч с ужасной новостью: солдаты убили какого-то полковника Языкова, городская власть в руках большевиков…

С утренним поездом приехала мама и забрала нас с сестрой в деревню.

Что-то случилось в мире.

Что-то такое произошло, от чего течение русской жизни

круто переменилось. Вот только что была война, журнальные картинки – зверства немцев, Реймский собор, казак Крючков с пикой, гигантский аэроплан «Илья Муромец», братание в окопах, карикатуры на усатого Вильгельма и австрийского старикашку Франца-Иосифа; затем прошумели революции – одна, другая; при первой кричали «ура» и горланили «Марсельезу», при второй была стрельба, по Дворянской скакали драгуны и мчалась грузовые автомобили с вооруженными людьми.

Тогда ведь еще не было радио, газеты в деревне почти не получались, и казалось нам, по нашей деревенской простоте и наивности, что все затихло покамест. Но вот летом восемнадцатого года брат мой, окончив Харьковский университет, приехал домой с бумажкой на немецком языке – разрешением харьковского военного коменданта на выезд к родителям. Немцы, оказывается, хозяйничали на Украине. Это было непонятно и жутко.

В Углянец вернулись досыта навоевавшиеся мужики. Они отличались от остальных мужиков тем, что носили солдатские шинели и грубые башмаки с обмотками. Но один – Андрюша Микито́вич – расхаживал по селу даже с винтовкой. На сельском сходе его поставили председателем комитета бедноты. Позднее о нем еще будет речь. Пока же я о себе скажу: у меня, в жизни моей, как и во всем мире, тоже обозначился поворот.

Первое – что с гимназией распростился навечно. Маму так поразили и напугали осенние воронежские выстрелы, что она и слышать не хотела о моем возвращении в город. Отец попробовал было убедить ее в необходимости продолжить мое ученье, но она отрубила решительно:

– Ни под каким видом!

Второе – что я *впервые* прикоснулся к жизни общественной. Случилось так, что однажды пришел к нам сельсоветский секретарь (не помню сейчас, как его звали, но был он наш, углянский, человек пожилой, из давних сельских грамотеев, пристрастных к словам непонятным, вычурным). Он и прежде не раз бывал у нас в доме и, верно, заметил, как я возился со своими тетрадками.

– Вот, батюшка, – сказал он отцу. – Володя у вас малый письменный, вот бы его ко мне на подмогу… В отделку ведь списки замучили, волость что ни день требует: то дай, это предоставь…

Он вручил мне черновики списков и бумагу какую-то необыкновенную, голубоватую, с бледной красивой сеточкой на просвет. Я с радостью принялся перебеливать его черновики. Боже ты мой, чего только, каких сведений не требовала волость, –

и кто поименно из граждан на гармониях и балалайках играет, и какие сады у кого, сколько корней, и какая скотина, какая птица… Но самый удивительный был первый список, которым я занялся с прилежанием не меньшим, чем при переписке Дантовых терцин; он так узористо назывался: «Список гражданам села Углянца, кои имеют удовольствие для курения табаку».

И, странное дело, я как-то вдруг охладел к своим тетрадкам, к уродливо нарисованным картинкам адских ужасов. Пусть смутное, еще не осознанное, но очень стойкое ощущение *поворота* всей жизненной колеи прилепилось ко мне неотвязно. За этим поворотом тягучие троестишия великого итальянца и черные, мрачные гравюры Густава Доре оказывались ненужными, ничего не говорящими. Прошлым летом, в чердачной полутьме, меня поразила необыкновенность, я удивился, оторопел перед невиданным. «На полпути земного бытия…» Лев и пантера, крадущиеся по следу заблудшего путника… Мрачная ладья костлявого старика… Чернота острых скал и каменных сводов…

Но что я видел, что слышал до того, как открыл дне эти ужасные книги? Ровно ничего. Бабушкины россказни, сычевский автомобиль, каменистый двор, Маргарита, Нат-Пинкертоны, скука гимназических уроков. И вдруг – неожиданное, чудесное: стрельба на улице, грузовики с вооруженными людьми, драгуны, офицер, воровато прячущийся в подворотню, – это в городе; а в деревне – солдатские шинели, предкомбеда Андрюша с винтовкой, удивительные списки… Тут начинался поворот, и за поворотом, в другом, новом мире, пачкотня моя адская была решительно не нужна. А списки? Списки оказывались не только нужными, но и необходимыми. Гимназист Фришман и дедушка Яков Петрович указали потаенную дверь в волшебство, и я тайно возмечтал вдруг сделаться художником, стихотворцем. Нынче волшебство это как-то отдалилось, заветные тетрадки валялись под столом (на столе расположились списки), однако страсть к художеству, как я сейчас понимаю, все-таки, очевидно, оставалась при мне: я вкладывал ее всю в каллиграфическую красоту начертания скучного перечня лиц, «кои имеют удовольствие»…

Но вот наступило время, когда все нужные волисполкому сведения была даны, все списки представлены, и писарские мои занятия прекратились.

Тогда вдруг нежданно-негаданно пожаловал к нам крестный мой Иван Дмитрич, теперь уже *бывший* полковник.

Я сразу заметил, что и его *повернуло.* Он как бы ниже ростом сделался и голосом потише, и весь словно полинял, обносился.

Но лакированный свой ящичек с красками и гитару в черном чехле привез, однако наигрывал все больше печальное – про замерзающего ямщика, про туманное утро седое. Сказал, что лето хочет пожить в тишине, в сторонке. На лоне.

– А то, батя, – признался отцу, – как бы в городе чего не стряслось… Время-то, сам видишь, какое.

Он, конечно, слышал о расправе солдат с иными офицерами и гнева солдатского побаивался, видно, хоть в отставке-то, кто он нынче был такой? Житель улицы Мало-Садовой, не больше.

Вместе с ним в дом наш невидимкой прошмыгнула не то что тревога, а как бы предчувствие чего-то недоброго, что ли. Я, конечно, не очень-то ясно, не как взрослые, представлял себе творящееся в России; всё мне как-то внешне рисовалось и даже скорее занимательно, чем опасно; хлопки выстрелов, галки над тополями, занятия в гимназии через пень-колоду… А вечером в «милочкином салоне» шепот: полковник Языков убит…

Но вот это сходство полковничьих чинов!

И крестный растерянно, жалко говорит: «Как бы чего не стряслось»…

Он поселился за огородами, на новой улице, у солдатской вдовы. Изба была кирпичная, в три небольших окошка, с разлапистыми, в простенках намалеванными мелом елками и петухами. Милая, чудовищная стенопись нашего черноземного края!

Я помогал перенести вещи, вместе мы вошли в избу. В ней сгустился и прочно жил запах давно не топленной ночи и еще чего-то кисловатого: теста ли, кваса ли, остывших ли постных щей. Но лавки, полы и стол были чисто-начисто вымыты и выскоблены; под иконой, разукрашенной фольговыми завитками, висело крестиком вышитое холщовое полотенце, розовое фарфоровое яичко на голубой, засиженной мухами ленте. И был свой уют особенный во всем этом; и даже откуда-то черный кот притащился, зазеленел глазами, замурлыкал. Крестному все понравилось, он сказал коту: ах ты, жулябия! – и, настроив гитару, не запел, а как-то хрипло, прокуренно зашептал в седоватые усы:

Хороша наша деревня.
Только славушка худа… —

но закашлялся, кашлял долго и все плевал в красивый оранжевый пузыречек со стеклянной пробкой. Наконец, устав, прилег на лавку под иконой, отдышался и пробормотал:

– За окном весна сияет новая, а в избе – последняя моя: восковая свечка да сосновая, чистая скамья…

– Не говорите так! – умоляюще, со слезами на глазах, сказала Варечка, его жена. – Ну, зачем? Зачем?

– Это вы сами сочинили? – вежливо спросил я. – Какие хорошие стихи…

– Ну вот еще, стану я сочинять! В каком-то журнале прочел. – Крестный усмехнулся. – Точно про меня.

Варечка разожгла керосинку, поставила кастрюлю с водой.

– Бунин. – сказала печально. – Странно, Дмитрячок (она так смешно звала своего старого мужа), вы ведь не любите стихи, а эти вдруг вспомнили…

– К слову пришлось, – объяснил крестный с какой-то нехорошей, злобной усмешкой. – Весна, изба, лавка.

– Только свечки нету, – глупо заметил я.

Крестный засмеялся, Варечка отвернулась.

Иные слова казались жуткими, зловещими, темными. Не потому, что они по смыслу обозначали что-то ужасное или злое, нет. Просто самое звучание их, их, что ли, музыка какими-то неисповедимыми путями связывалась у меня с представлением о страшном. Например, слова: смерть, расстрел, гроб, убийство, землетрясение, – куда ведь как ужасны по смыслу, но почему-то не вызывали ужаса; а вот такие, казалось бы, простые, обыкновенные, домашние: шаги, маска, черта, полночь – жили в сознании притаившимися злодеями, предвестниками подкрадывающейся беды. Они, конечно, не только своей музыкой, не случайно, не без причины сделались такими, они имели свое происхождение. *Черта,* например, разумеется, от «Вия» (магический круг Хомы Брута), *шаги* – от бесчисленных рассказов о привидениях, оборотнях; ну а прочее – от прочитанного, от увиденного на картинке.

Слово *чахотка* также существовало в ряду страшных и неприятных, но тут уже и по смыслу, и по звучанию. Оно мелькало в разговорах домашних: кто-то *сгорел в чахотке,* кого-то *чахотка доконала,* кому-то *чахотка оборвала жизнь* – и так далее. Но слово все-таки лишь словом оставалось, хотя и неприятным. И вдруг я случайно подслушал, как за стеной переговаривались родители…

– Помирать, кажется, приехал, – сказал отец.

– Бедная Варечка, – вздохнула мама. – И вообще это ее замужество странное – вышла за старика да еще за чахоточного…

– Полковницей захотелось сделаться, – усмехнулся отец. – Да ведь и засиделась в девушках-то.

Она доводилась маме племянницей, мама жалела ее по-родственному.

Затем мелькнули слова: «открытая форма», «в последнем градусе». И наконец самое неожиданное:

– Ох, как бы Володька не заразился! Так ведь и липнет, так и липнет к крестному…

А я действительно «липнул».

Да и как могло быть иначе? Он открывал лакированный ящичек, долго разглядывал тюбики, отбирал нужные и выдавливал на небольшую палитру разноцветные колбаски красок.

И тут начиналось колдовство. Тут все было необычайно, чудесно, дух захватывало. Кисти с их длинными черенками, крохотные баночки с маслом и еще с какими-то жидкостями, пестрая, в пятнах красок тряпка, какие-то пузырьки, склянки, и всё пахучее, цветное, удивительное. Уж я и не говорю о самом удивительном, о том, как на кусочке картона постепенно, мало-помалу, вырисовывалась, рождалась картинка. Это зрелищное диво запомнилось еще с прошлого года, когда «милочкин» Валерик рисовал, копировал пурпурные «клеверовские» закаты, и я балдел от восторга, и все хотелось попробовать самому, в однажды, в ночь перед революцией… Впрочем, я уже рассказывал об этом.

Но вот крестный малевал картинки, а я жадно вглядывался – как это у него получается, и снова мечтания одолевали: буду, буду художником! И даже удивительно, непостижимо казалось – как же это я вдруг мог покинуть мечту, как мог ее променять на сельсоветские списки!

Между делом крестный пытался поучать меня – как смешивать краски, как их растворять да как держать кисти в чистоте. С карандашом обращаться я умел, но надо, во что бы то ни стало надо было научиться писать масляными красками. Масляные краски казались вершиной искусства. Крестный же только учил теоретически, на словах, а к краскам, как и Валерик, не допускал. Но вот однажды я рассказал ему, как в ту памятную ночь воровски мазнул кистью по бумаге, и закат лимонный расплылся черным, грязным пятном. Я спросил, почему это? Он рассмеялся: «Ах, дурачок!» – и рассказал о сложном и тонком искусстве грунтовки.

– Да вот возьми, почитай…

Порылся в чемодане и протянул мне толстую, довольно потрепанную книжку какого-то немецкого автора «Техника живописи масляными красками». Я схватил книжку и помчался

домой. Вот оно! Вот оно! Сейчас прочту, враз постигну все премудрости и сделаюсь художником… Скорее! Скорее!

В нашем саду был шалаш, туда складывали падалицу; в душные июльские ночи в нем частенько ночевал отец. Тут вечная стояла тишина, лишь в соломенной кровле мышь шуршала осторожно; птицы снаружи посвистывали приглушенно, а крик деревенских петухов и вовсе казался за тридевятью земель, далеко, на краю света…

Здесь, в полуденном безмолвии, дрожа от нетерпения, я открыл книгу немецкого автора. И заснул на первой же странице.

Маму особенно тревожило то, что я повадился обедать у крестного; именно поэтому ей казалось, что мне не миновать чахоточной заразы.

– Вот уж не понимаю, – ворчала, – что ему там в ихней сушеной морковке!

И верно: вокруг деревенские огороды, самые свежие овощи, а Варечка всегда варила супы именно из сушеной, тонкой соломкой наструганной морковки. Крестный считал, что для здоровья сушеная морковка гораздо полезнее свежей. А мне было все равно – сушеная, свежая, – главное, посидеть подольше возле крестного, послушать его рассказы, игру на гитаре, просто побыть рядом. Словом, я сотворил себе божество и усердно ему поклонялся.

Казалось бы – военный человек, две войны отвоевал, о чем бы и рассказывать, как не о военных приключениях, но нет, о них-то крестный и помалкивал. Рассказы его были большей частью о великих художниках; хотелось слушать и слушать, как птицы прилетали клевать виноград, нарисованный древним мастером; или как некий придворный живописец какого-то короля помимо художества еще и тем прославился, что вырастил бороду до полу, и король показывал его иноземным послам, как чудо. Любил крестный рассказывать также про знаменитого Айвазовского, будто продавал тот свои картины таким образом: покрывалось полотно золотыми монетами, и сколько их умещалось на картине, столько покупатель и отваливал денег. Про богатство вообще много говорилось: кто-то в золотой карете ездил, кто-то всякий день надевал новое платье, у кого-то столько-то было миллионов и вся посуда в доме – золотая и серебряная.

Сперва все это увлекало, я слушал с разинутым ртом, но очень скоро приелись анекдоты о художниках и золотых горшках. Тем более что по старческой забывчивости он бесконечно повторялся. Сделалось скучно и даже как-то обидно за художество: оно всегда казалось мне волшебством, а тут – бородища до полу и дурацкие золотые монетки… Оказывалось,

что видеть крестного два-три раза в год, навещая его на Мало-Садовой, – это одно, а бывать с ним каждый день – совершенно иное: скука, скука, переливание из пустого в порожнее, словесное тарахтение.

А кроме всего, он был неприятен своей какой-то безобразной, нелепой скупостью и отвратительным обращением с женой. Он мог, например, часами просиживать над записями в замызганной приходо-расходной книжечке, с огрызком карандаша подсчитывая, сколько и на чем сумела бы сэкономить Варечка, если бы покупала не то и не в том количестве; он любую дрянь – ржавый гвоздь, порожнюю коробочку, обрывок веревки, пуговицу, кусочек проволоки – поднимал на дороге, приговаривая неизменно: «глядишь, и пригодится»; в керосин подливал воду, и лампа горела слепо, фитиль обрастал черным нагаром, а ему казалось, что он экономит на керосине.

На жену смотрел как на существо низшее; когда она вмешивалась в разговор, грубо обрывал ее; высмеивал ее некрасивость, ее нос, который почему-то вдруг временами краснел, ее пристрастие к стихам: «С вашим носом (они звали друг друга на «вы») только поэзией и заниматься!»

К концу лета я его возненавидел. И вот он сказал мне однажды:

– Бери лопату, пойдем в лес.

Я спросил:

– А зачем лопата?

– Клад зарывать, – загадочно усмехнулся.

Осень уже у двора стояла, кое-где покраснели, затрепетали листочками осины. Трава пожухла, выгорела. Время к вечеру шло, в лесу становилось сумеречно.

Я спросил – куда идти. Крестный сказал, что все равно, лишь бы нас никто не видел. Тут я заметил у него под мышкой какой-то сверток в черной клеенке и сообразил, что его-то мы, верно, и будем закапывать. Это становилось похоже на приключение: меня даже в дрожь бросило, – еще бы, как необычайно, как таинственно!

Я привел крестного в укромный уголок, на берег небольшого лесного озерца со звонким названьем Винница. Он, видно, утомился, дышал трудно, хрипло. Тяжело опустился на старый, гнилой пень, вынул свой красивый пузыречек и долго кашлял, сплевывал. И все время оглядывался вокруг, словно ища чего-то.

– Вон видишь рябинку, – сказал, отдышавшись, – под нею и копай…

– А глубоко? – спросил я.

– Да с пол-аршина хватит, пожалуй.

Копать оказалось трудно, лопата то и дело натыкалась на корневища мелкой древесной поросли, земля была затвердевшая, каменная. Не меньше получаса провозился я, пока вырыл подходящую ямку.

– Ну вот… – кряхтя, неприятно хрустнув суставами, крестный стал на колени и аккуратно уложил в яму клеенчатый сверток. – Дай-ка сюда лопату…

Сам закидал землей, притоптал взрыхленный бугорок; опавшей листвой, хвойным хмызом притрухнул похоронное место.

На обратном пути я робко спросил – что это мы закапывали; он притворился, будто не слышал вопроса, промолчал.

Утром ему сделалось так плохо, что Варечка поспешно собралась и увезла его в Воронеж.

А я… ну, что – я! Сами понимаете.

Любопытство разбирало: что? что мы закопали? И скоро прямо-таки невтерпеж сделалось. Обмирая от страха, пробрался однажды туда, к озерцу, и откопал таинственный сверток. В нем оказались два пистолета: один – старый мой знакомец, дуэльный, а другой – маленький, чуть больше ладони, черный, с каким-то сизоватым отливом. Теперь-то я соображаю, что это был браунинг, конечно.

Растерянный, стоял я над открытой ямкой, смутно догадываясь, что стал соучастником какого-то скверного, темного дела.

Понял, что теперь мне конец.

Кое-как завернув пистолеты в клеенку, я снова их закопал. И надолго легла на сердце тяжесть. Ни к тетрадкам, ни к карандашам руки не тянулись, все мысли были об этой проклятой черной клеенке. Страшные сны одолели: то крестный являлся с оранжевым своим пузыречком, шаркая ногами, шел на меня, злобно сипел: «Кто тебя, дрянной мальчишка, просил совать нос куда не следует!» То Андрюша-председатель стучал оземь винтовкой: «Шлепнуть его, сукинова сына, да и го́ди!» То снова в ужасном сне бежал в лес, к потаенному месту, а там – темно, жутко, сычи кричат, и пусто, земля разрыта, одна лишь клеенка валяется на рыжей траве…

Такое состояние мое было, конечно, замечено. Мама спросила с тревогой – уж не заболел ли?

– Да нет, ничего, – пробормотал я, отводя глаза.

Так ноябрь подошел. Приближалась первая годовщина Великой революции. Дни сверкали ясные, звонкие. Над Углянцем журавли пролетали, ночами тянулись гуси. Сады стояли голые,

сквозные, с гремящей палой листвой под ногами.

Об эту пору вернулся с войны один из наших сельских учителей – Михаил Иваныч. Каждый день бывал у нас, обедал, рассказывал про свои ратные похождения. Он был балагур, веселый человек, все его приключения выглядели смешными, и даже о том, как едва не погиб, рассказывал шутейно.

Но вот однажды явился хмурый, озабоченный, и прямо к маме:

– Ну, матушка Марья Михайловна, выручайте! Размерите, голубушка, как это, на какой мотив поется… Вот ноты прислали из губернии, новый гимн, велят к празднику разучить со школьниками, а я в этой премудрости нотной – ни бе, ни ме…

Только было мама уселась за пианино и принялась робко, одним пальчиком, выстукивать мелодию «Интернационала», как в передней затопали сапогами, и Андрюша-председатель ввалился с неразлучной своей винтовкой, а с ним секретарь сельсоветский, с каким мы трудились над великолепными списками «гражданам, кои имеют удовольствие».

– Здорово, матушка, – сказал предкомбеда, – мне вашего Володю нужно.

Я помертвел: вот они, сны-то…

Однако страхи оказались напрасны. Ко дню праздника требовалось написать печатными буквами лозунг, и, как в деревне знали, что я «малюю», то к кому же как не ко мне и было обратиться нашим властям.

Но тут другой вопрос возникал: откуда взять красного кумачу? В потребиловке (как тогда называли сельские кооперативные магазины) вообще никакой мануфактуры нету, спрашивали в волости – та же картина. Разговаривая, предкомбеда все поглядывал на некое громоздкое сооружение из порожних ящиков, тюфяка и темно-красного покрывала. Сооружение это называлось у нас *оттоманкой.* Мама сразу догадалась, чего это Андрюша глаз не сводит с оттоманки.

– Этакая-то подойдет? – прямо спросила она.

– Первый сорт! – обрадовался председатель.

Все решилось враз: покрывало разорвали пополам, а одну половину председатель взял с собой, – «в сельсовет, на флаг», – пояснил он, – а вторую, вместе с баночкой цинковых масляных белил, вручил мне.

– Ну, давай пиши, – сказал.

– А чего писать? – спросил я.

– Да чего-чего… – Он задумался, поскреб под солдатской папахой. – Пиши прямо: да здравствует красный Углянец. И без никаких!

Утро седьмого ноября заалело, засеребрилось морозцем. Возле сельсоветской избы собрались, покуривали десятка два мужиков. Бабы, прогнав в стадо коров, одна за одной подходили, спрашивали друг у дружки с любопытством: «Чевой-то будет-то?» На коньке крыши сидел Сигней-сторож, обрывком старых вожжей прикреплял к кирпичной трубе флаг. Михаил Иваныч привел шумный табунок школьников. И тогда на крылечке сельсовета показалась власть, два преда: комбедовский – Андрюша и сельсоветский – Аким Михалыч.

Он был новый в селе человек, хотя и углянский по рождению. Мальчонкой еще, отбившись от крестьянства, ушел на шахты, да так там весь свой век и свековал. Летом восемнадцатого года – больной, изможденный, почти старик в свои сорок лет, вернулся на родину, поселился у брата. «Ты чего? – удивился брат. – Ай отшахтерился?» – «Как сознательный рабочий класс и член Рекапе, – будто бы сказал Аким, – пришел я вас, темных сиволдаев, до мировой революции довесть, а то знаю я вас …» Он кашлял, задыхался, в нем жизнь чуть теплилась. Брат только головой покачал: «Водитель! Как на ногах-то еще держишься…» – «Меня, браток, с ног не сшибешь, – отвечал Аким. – Я злобой на буржуев сто лет проживу, не крякну!»

Он оказался великим охотником говорить длинные речи, – тогда в деревне это еще в новинку было, – и мужики определили его в председатели. А говорил он цветисто, кудряво, всегда с криком; мудреные слова: гегемония, эксплуатация, саботаж, пролетарьят, плутократия – так и летели с его языка.

И вот он вышел на крылечко и прокричал речь.

– Ат, дьявол! – восхищенно сказал сторож; прикрепив флаг, он не спешил слезать, сидел верхом на крыше. – Пра, дьявол! Чисто колесо – крутится, а спиц не видать…

Михаил Иваныч взмахнул руками, и школьники вразнобой запели: «Вставай, проклятьем заклейменный».

– Шагом марш! – скомандовал Аким. И мы шибко пошли в волость. Впереди шагал комбед Андрюша. Винтовку он взял на ремень, а в руках нес палку с прикрепленным к ней бордовым лоскутом: «Да здравствует красный Углянец!» Буквы кривили, проступившее масло окружало их темной каймой, но радость и гордость распирали меня: что ни говори, а это ведь было первое мое произведение, нужное обществу и признанное им.

Необыкновенно веселый, радостный разгуливался день. Дорога на Орлово, в волость, тянулась краем поля, вдоль ряда деревенских мельниц-ветрянок. Ровный, подувал прохладный ветерок, работа у мукомолов не стояла. Услышав песню, вылезали

седобородые из причудливых своих крылатых убежищ, дивились на нас, на хлопающий под ветром красный флаг, рукой заслонясь от яркого солнца, долго глядели вслед.

А в Орлове – не то что в Углянце – было людно. На пыльной притоптанной площадке перед кирпичным домом бывшего волостного правления толпились пришедшие из других сел – из Тресвятского, Забугорья, Селиванова, Макарья, – все больше, как и углянские, школьники. И трепетали на ветерке скромные знамена, и даже, помнится, какой-то оркестр, составленный из гармониста, двух балалаек и мандолины, время от времени простодушно и радостно всплескивал над солнечной тишиной, заглушая будничную разноголосицу еще не привыкшей к новому празднику деревни.

Тут тоже оратор был – председатель волисполкома товарищ Попов, но он уже не с крылечка, не по-домашнему говорил, а служебно, стоя за столом, накрытым чистой холщовой скатертью. И фоном ему высилась красная кирпичная стена волостного Совета, украшенная небольшими портретами Ленина и Карла Маркса. Так же, как и Аким, он сыпал новыми, еще малопонятными словами, однако смысл речи улавливался не в пример легче, вразумительнее, и смысл этот вырвался наконец целиком в его последнем вскрике:

– Да здравствует мировая революция!

Затем нас повели в школу, где вместо парт были длинные столы, уставленные разномастными тарелками и блюдами со свежим, еще теплым хлебом. И две тихие, молчаливые старые девушки, чернички орловские, мобилизованные для этого случая волисполкомом, из черных, дымящихся чугунов угощали нас гусиной лапшой и как-то молитвенно, тоненькими голосками приговаривали: «Кушайте, деточки, кушайте, бог праздничка послал…»

Короток ноябрьский день. Пока мы слушали речи да угощались праздничным обедом, солнце пало к закату, и длинные тени легли на похолодавшую землю. Домой мы с Михаилом Иванычем добрались, когда уже совсем стемнело, в окнах затлели робкие, подслеповатые огоньки: жалели керосин, обходились каганцами.

Я сразу пустился увлеченно рассказывать – как весело шли, да как гармонисты играли, да про мировую революцию, да про лапшу, и как тетеньки смешно приговаривали, угощая. И так разошелся, так смешно, в лицах, представлял черничек, что и домашние смеялись: «Поля! Ну, вылитая Поля!» – «Ох, да это ж Матренушка!»

И тут вдруг с улицы дробно, дерзко забарабанили в окно. Я отдернул занавеску; там, в ночной черноте, мерцали чьи-то плоские и, как показалось, огромные лица, Отец пошел отпирать, в сенцах забухали тяжелые сапоги, и вот в комнату ввалились люди. Двое из них были чужие, незнакомые; один, похожий на Максима Горького, в черном потрепанном пальтишке с бархатным воротником, другой – помоложе, в скрипучей кожаной куртке; третий был Андрюша-комбед. Он кивнул на своих спутников и сказал коротко, как выстрелил:

– Чека.

– У вас находится гражданин Сычев? – строго спросил похожий на Горького.

– Нет, что вы, – сказал отец (мне показалось, что он побледнел). – Я его с прошлого лета не видал…

– А летом? Когда?

– Да уж не припомню точно, в июле, кажется.

– Он был у вас? Зачем?

– Просил кой-какие вещи припрятать.

– Что за вещи? – как-то сразу насторожился чекист.

– Не знаю, не могу сказать, я отказался прятать.

– Так… – задумчиво, с явным недоверием, протянул чекист. – Разрешите все-таки посмотреть у вас в доме.

Они ходили по комнатам, заглядывали под кровати, в шкафы, слазили на чердак. В моей комнатенке наткнулись на листки с чудовищными, изуродованными картинками Доре.

– Это кто же у вас малюет? – полюбопытствовали.

– Да вот, сынишка…

– Ишь ты! – одобрительно усмехнулся чекист, – Ну, давай, давай, дело хорошее.

Я стоял столбом, глупо улыбался.

В конце ноября белые мухи полетели, стала зима. А вместе с первым снегом в селе на постой расположилась войска. Три комнаты заняли в нашем доме под штаб и полковую канцелярию. И все сразу сделалось по-новому, по-военному, остро запахло сапогами, махоркой, мокрыми шинелями, оружейной смазкой. В эту новизну военную еще и машинка «ремингтон» входила совсем необыкновенно. Сухонькая строгая барышня, с лицом скорбным и как бы заплаканным, устроилась в моей комнатке за стареньким ломберным столом, за которым с тетрадками и бумажками своими испытал я столько восторга и отчаянья. Теперь она там по целым дням стучала на «ремингтоне».

Наконец решили все-таки, что мне надо продолжать ученье. Опять повезли в Воронеж и на этот раз устроили жить у крестного

на Мало-Садовой. Однако дело с моим образованием и тут не пошло: гимназия хотя и существовала еще, но занятия в ней шли через пень-колоду, кое-как; здание не отапливалось, и гимназисты в холодных классах не столько сидели за учением, сколько согревались беготнёю и драками.

А в тихой и тоже холодной квартире, среди картинок на охотничьи сюжеты, крестный умирал медленно, мучительно. Он как приехал осенью из Углянца, так и слег, и вот уже какой месяц лежал, плевал кровью, и Варечка, испуганная, с покрасневшим носом, шептала маме, что врач сказал: «самое крайнее – до весны…»

Снова очутился я в деревне. И удивительно быстро промелькнула зима – в тесноте, с коптилкой, со стуком «ремингтона», с грохотом солдатских сапог, с метелями, оттепелями, с приятным ощущением своей свободы, своей воли делать все, что хочу.

Но мне ничего не хотелось. Я и тетрадки забросил и карандаши. Помогал отцу по двору, по хозяйству, – чистил коровий катух, таскал из обледенелого колодца воду, рубил дрова, отгребал снег. Зима стояла снежная, избы чуть ли не до крыш заметало, и не было для меня большего удовольствия, как после ночных буранов морозным розовым утром врубаться лопатой в сугробы, раскидывать голубоватые сахарные глыбы плотно слежавшегося снега.

Ранней весною снялись, ушли из села войска, сделалась тишина. Мама чисто-начисто отскоблила, вымыла полы. Опять водворился я в своем уголке, достал забытые тетрадки – и накатило…

Увлечение русской стариной, далекими образами, смутными ликами древней Руси. Застава богатырская (в травах могучих тяжкий скок гривастых коней), плач Ярославнин (седым мохом поросшие тесовые кровли Путивля), половецкое поле (синий вечер, низкая, зловещая луна, взъерошенные коршуны дерутся над холмами, где воины полегли, – убитые, но как бы живые)…

Гамаюн, птица вещая.

Деревянные столбы – идолы среди диких камней, как стража, а за ними – неоглядная синяя даль: леса, озера, реки…

Откуда все это пришло?

Да оттуда же, откуда и ко всем приходит: с картинки в хрестоматии, в старом журнале, с цветной открытки.

Из строчек стиха: «У лукоморья дуб зеленый…»

От меевских былин, от звонких баллад Алексея Толстого.

От самой природы нашей серединно-русской, что с детства

окружала меня.

Я жил, очарованный призраками древности. Пытался сочинить стихи, и сочинял что-то такое, вроде:

Старик-гусляр у ног Перуна
Поет былину про поход.
И раздаются гуслей струны,
И молча слушает народ…

В это время моим учителем был Аполлон Коринфский, стихотворец, нынче мало кому известный, а в свое время, до революции, часто печатавшийся в иллюстрированных еженедельниках. Он писал *сказы* и *бывальщины.* В них «добры молодцы» были и «Русь святая», и «ой, да ты, детинушка». Все эти видом старорусские завитушки как из дырявого мешка сыпались, да только вместо подлинной Руси пялилась другая – фальшивая, сусальная. Но я тогда не понимал этого, Аполлона мне разъяснили вскоре, и я еще расскажу – как, при каких обстоятельствах.

Итак, накатило, и я строчил.

Между тем слухи о царских генералах, будто ведут они на красную Москву несметные казачьи полчища, бог весть откуда приползали к нам в деревню все чаще, все тревожнее. Кривой на один глаз, бывший сельский лавочник Семен Васильич, зайдя в потребиловку, подмигнул продавцу Будрецкому:

– Кончаются, стал быть, собачьи депутаты…

Сам мужик, Семен Васильич жил от мужиков в особицу, брил бороду и усы, одевался по-городскому. Скрывая кривой глаз, носил синие очки, но берег их, зря не трепал, появлялся в них лишь на людях.

Будрецкий, из польских беженцев, человек робкий, трепетный, боялся всех, а в лавке находился председатель сельской бедноты. Будрецкий испуганно глядел то на лавочника, то на председателя и не знал, как держаться.

– Добрешешься, сволочь! – сказал предкомбеда. – Шлепнуть бы тебя, гаду, да пули жалко…

Этот разговор я сам слышал, меня в тот день за чем-то посылали в лавку. Я сидел на крылечке и с интересом прислушивался к перебранке Семена Васильича с председателем.

– Об тебе, косой бугай, чека скучилась, – презрительно сплюнул Андрюша.

У лавочника внутри что-то протяжно захрипело, как испорченный бой в стенных часах.

– Че-ка! – захохотал, засипел. – Чеку еще какую-то

придумали! Ты б, Андрюша, об своей об шкуре лучше поразмыслил бы, себя поберег. А то ведь не ровен час… В одну прекрасную время сымут тебя с мягкой постелюшки: «Эт-та вы, спросют, такой-сякой председатель оборватого комитету? В таком разе пожалуйте, господин-товарищ, за сарайчик…»

– А вот! – Андрюша побледнел, стукнул прикладом о грязный, захарканный пол. – Этого не видал?!

– Ах, дурашка! – потешался лавочник. – Так ведь у них же на твою ружье – танка железная! Артиллерия! Не-ет, друг, вам спроть них нипочем не выдюжить!

Я шел домой и раздумывал об услышанном. И, кажется, в первый раз вдруг сообразил, что древняя Русь, стишки, картинки – это так, это хорошо, но, верно, не миновать нам чего-то такого, о чем ползут слухи, что должно случиться неотвратимо.

Но что это будет? Война? Свои, русские, станут убивать своих же? Я знал, что русские русским рознь, одни за царя, белые, другие – за революцию, за Советы – красные. Как не знать! И что воюют они где-то за свои по-ли-ти-чес-ки-е *платформы* – и это мне было известно. Но дело-то все оказывалось в том, что до сих пор война происходила бог знает где, далеко, а тут вдруг – у нас, в Углянце! И, значит, пушки? И ужасные танки? Эти громадные железные чудища, похожие на допотопных ящеров или черепах… или нет, пожалуй, в нелепости своей вообще ни на что не похожие.

Я как-то видел картину в «Огоньке»: наступление английских танков на немецкие позиции. Вздыбленная бронированная махина, задрав кверху тупое рыло, ползет на железных гусеницах, слепо, страшно; немецкие солдатики в вильгельмовских, увенчанных копьевидными штырями касках, кидая ружья, бегут, потрясенные; раздавленная пушка – крохотная, игрушечная; колья проволочных заграждений – как спички… И все повержено, все сломлено железным дивом.

Все как во сне, как в бреду.

А кругом весна сияла.

На выгоне, на зеленой нежной муравке бабы расстилали беленые холсты. Синицы-иванки́ весело перекликались в углянских садах. Близкие леса сиренево сквозили, еще не одетые. И зыбко над их прозрачностью, у самого горизонта, белела недостроенная колокольня Толшевского монастыря. Рыжий телок, задрав хвост, скакал, взмыкивал не своим голосом. И дым пахучий бесчисленных деревенских угольниц плоско, слоисто стлался, между яблонями, оберегая приземистые деревца от

весенних заморозков.

И мужики ехали в поле пахать, истово принимались за вековечный свой труд – кормить стопятидесятимиллионную Россию. РСФСР – как она сейчас называлась. «Помирать будешь, а все равно – сей!» – так-то испокон веков старики говаривали.

Нынче же России выходило две: наша, где жили мы, где пахали углянские мужики и звонко, голосисто переговаривались бабы, расстилая беленые холсты, и другая – та, по которой двигались несметные казачьи полчища с артиллерией и даже танками, как уверял злобствующий лавочник.

И та, чужая, воинственная, грохочущая железом, полыхая зловещими заревами ночных пожаров, грозно шла на эту, нашу Россию затем, чтобы покорить ее, задавить, вернуть лавочнику его лавки, а миллионеру Сычеву – его табачную фабрику и проклятый автомобиль, из-за которого столько на селе было переломано оглобель и опрокинуто телег.

Невероятно…

А он, Сыч-то, оказывается, и в ус не дул: дерзко, ничуть не скрываясь, околачивался в городе и, надо думать, терпеливо поджидал нашествия генералов.

Всего лишь полгода прошло с того темного осеннего вечера, когда разыскивали его чекисты, а он, как ни в чем не бывало, среди бела дня бесцеремонно вваливается в наш дом, кричит простуженно, сипло:

– А-а, туды их мать! Думали, дискать, растоптали, уничтожили Сыча, ан – дулю-с! Вот он я, собственной персоной, равноправный гражданин, советский служащий!

Хвастает, что поступил на железную дорогу поездным контролером, и ходит по вагонам рабочих поездов, щелкая компостерными щипчиками, проверяет билеты, вылавливает «зайцев» и даже имеет от этого занятия доход.

Смысл старой поговорки, что «дерьмо и в воде не тонет», сама жизнь подтверждала полностью.

Лето девятнадцатого потянулось в духоте, в зное, в тревожных, туманных слухах, в ожидании.

Родня и какие-то сомнительные знакомцы понаехали к нам из разных мест российской империи – из Киева, из голодного Петрограда, из станицы Урюпинской, из Воронежа. Тетушка Елена Михайловна с пышнотелой барыней, вдовой-невесткой Настасьей Павловной; какой-то ранее неведомый мне троюродный братец Алексей Иваныч; загадочный, странный человек Александр Васильич, бывший углянский учитель, в

четырнадцатом добровольно ушедший на фронт, а тут неожиданно, словно с неба упал, объявился в самом неприглядном виде – грязный, заросший, обовшивевший…

Мама только охала, уходила в чуланчик поплакать, повздыхать: поди-ка прокорми этакую ораву! Отец, как всегда, был молчалив, сдержан, терпеливо ждал, когда кончится родственное нашествие. Его, кажется, больше всего тревожило то, что я не обучаюсь наукам, бью баклуши, гоняю без толку, напяливаю на колья плетня страшные конские черепа («И где ты только разыскиваешь эту дохлятину!» – в отчаянии причитала мама) или вожусь в своей комнатушке, копаюсь в каких-то бумажных клочьях. Эти клочья, этот хлам были вырезанные из старых журналов картинки, полюбившиеся мне – за что? – едва ли мог объяснить. Многие мне были непонятны совершенно (как в свое время жуткие гравюры Доре), однако какая-то тайная прелесть жила в них, превращала мою жизнь в бесконечную цепочку восторгов, в некое легкое, веселое сумасшествие.

Снова захватило: рисовать, рисовать… Но ведь для этого требовалась бумага, а где ее взять? И тогда пошли в дело чистые листы из старых тетрадей, книжные форзацы, оборотные стороны географических карт.

Странным казалось мне, что отец не бранит, не наказывает меня за варварское разорение хороших книг; даже нет-нет, да и заглянет с любопытством в мою комнатенку.

– Ах, вон откуда эти черепа! – сказал как-то, увидев среди моих вырезок рериховских «Идолов». – Ну-у, – засмеялся, – ты, брат, фантазер!

Я улыбался сконфуженно, как уличенный в плагиате.

Нежданных гостей – родню и прочих – я сразу возненавидел за то, что на милый наш Углянец, на наш дом они откровенно смотрели как на тараканью щель, куда можно было залезть и тихонечко отсидеться до лучших времен. Настасья Павловна так прямо и сказала с порога:

– Приехали к вам спасаться…

Алексей Иваныч промямлил что-то о петроградской голодной жизни и своем сиротстве.

– Ведь кроме вас, дядечка, у меня никого нет…

Александр же Васильич забрался в щель молча. Спеша, жадно ел вареную картошку с простоквашей и приговаривал, как-то странно хихикая:

– Картошечка прекрасная вещь!

От него пахло псиной.

Наевшись, он тотчас залезал на чердак, где и прожил все

лето, никуда не выходя со двора, словно прячась от кого-то.

– Ох, не нажить бы нам беды с этим Александром Васильичем, – сказал однажды отец. – Темный какой-то он человек…

И долго перешептывался с мамой в чуланчике, гадая: зачем, откуда появился, и как было бы хорошо, если б поскорее убрался от нас подобру-поздорову.

А я догадывался, что Александр Васильич был самым обыкновенным дезертиром.

В братце Алексее Иваныче меня все раздражало особенно: его манера говорить вяло, умирающим голосом, его синий, довольно потертый сюртучок с серебряными пуговицами министерства народного просвещения (он был учитель гимназии), толстые стекла очков, мертвые, похожие на искусственные глаза какого-то небывалого, неопределенного цвета. «Радуга – явление физическое, – говорил он скучно, сонно, – но по народным приметам она обозначает наступление хорошей погоды». И как-то сразу от этих его серых слов тускнело многоцветное небесное чудо, исчезала красота и делалось ужасно скучно.

Однажды, от нечего делать, он принялся разглядывать мои картинки-вырезки, и первыми ему попались «демоны». У меня их было целых три: два Врубеля и один Зичи. Долго и с глупой сосредоточенностью, перекладывая с места на место, будто сравнивая, разглядывал он их, а затем, уставясь на меня своими мутными, словно бы запыленными глазами, промямлил:

– Демон – слово греческое, оно обозначает божество, но божество злое. Ты занимаешься коллекционированием, это хорошо, может пригодиться в жизни.

Он похвалил меня, а мне сделалось скучно.

Настасья Павловна его обольщала. Чуть ли не силком волокла в сад, тащила на длинные прогулки, жеманилась, хихикала, стонала:

– Ох, искушение!

То и дело роняла золоченое пенсне, оно никак не хотело держаться на ее пуговичном носике. Шуршала шелковой юбкой, убегая в кусты малинника, противным голосом зазывала:

– Ну, догоняйте же! Преследуйте!

Он сонно преследовал.

Стихами еще завлекала. А он был из тех сравнительно редких людей, для которых поэзия как бы вовсе не существовала: он не чувствовал поэтического слова, тут его глухота была абсолютной.

Настасья Павловна пела:

Дракон – владыка солнца и весны,
Единорог – эмблема совершенства,
И феникс – образ царственной жены,
Слиянье власти, блеска и блаженства…

И спрашивала:

– Вы чувствуете? Это вонзается, как стилет, вы слышите? Слышите?

– Кто знает, – вяло жевал он. – Надо бы вдуматься хорошенько… это, вот именно… поразмыслить…

– Несносный! – она кокетливо вздрагивала толстыми плечами и обязательно роняла пенсне.

Господи, как я ее ненавидел!

И вдруг простил все – и дурацкое жеманство, и шелковый свист юбок, и пенсне. Она купила меня лестью.

– Вы, Володя, удивительный мальчик, – сказала однажды. – Простите мне мое любопытство – ах, все женщины любопытны! – я заглянула в ваши коллекции и была поражена: Врубель, Бенуа, рериховские древности… Такой изысканный, тонкий вкус! Нет, нет, это просто невероятно… Но вы, я слышала, еще и поэзией увлекаетесь?

Я сказал, что люблю Аполлона Коринфского.

– Коринфский?! – Настасья Павловна удивленно и презрительно сморщила носик. – Но это же сусальный пряник, фи! Эти его рати небесные, покровы богородичные… эта конфетная, приукрашенная Русь!

Мне было обидно за Аполлона, но я вежливо промолчал.

– А Бунин? – не отставала Настасья Павловна. – Что вам нравится у Бунина?

Я сказал скороговоркой:

– Под небом мертвенно-свинцовым угрюмо гаснет зимний день, и нет конца лесам сосновым, и далеко до деревень…

– Ну, это, знаете ли, раннее, это еще не Бунин. «Мне вечор, младой» – знаете? Не-е-ет?! – с восторгом и ужасом взметнулась, привычно роняя пенсне. И стала торжественно, истово читать:

Мне вечор, младой, скучен терем был,
Темен свет-ночник, страшен Спасов лик.
Вотчим-батюшка самоцвет укрыл
В кипарисовый дорогой тайник!

А любезный друг далеко, в торгу,
Похваляется для другой конем,
Шубу алую волочит в снегу,

Светит ей огнем, золотым перстнем…

– Вот – Бунин! – сказала так гордо, торжествующе, словно повергла в прах темную силу и вот теперь стоит сияющей победительницей. – Это больше чем поэзия. Это – над поэзией. Теперь, надеюсь, вы поняли, что такое ваш Ко-ринф-ский!

Я, кажется, действительно понял. Мне стало стыдно за липкие, засахаренные Аполлоновы пряники.

А слухи все ползли, шелестели.

Странно, жутковато вдруг вздрагивала земля, и легкий дребезг оконных стекол как бы предупреждал: скоро, скоро…

И уже фамилию генерала называли с оглядкой. Она была звериная: Шкуро.

И что будто на знамени – волчья голова, а отчаянное казачьё вроде грозновских опричников…

И будто уже там-то и там-то видели передовые шкуровские разъезды – в Никольском, в Пчельниках, в Рамони.

Вечерами у нас не зажигали лампу, сидели впотьмах, прислушивались к тишине.

Однажды где-то далеко, в деревне, собака завыла предсмертно, страшно; в другой раз земляная жаба под полом закурлыкала: крру… крру…

Все воспринималось как зловещие приметы, как черные знаки надвигающейся беды.

А потом вдруг сразу успокоились, занялись своими житейскими делами. Возились в садах, в огородах. На гумнах мерно застучали цепами: а-та-пы! а-та-пы!

В сонной, жаркой тишине погожего бабьего лета особенно почему-то яростно и горласто перекликались деревенские петухи.

И все забыли про волчью морду и про опричников.

Вот тогда-то пыльной тучей задымился тамбовский большак, и с гомоном, с медными трубами, свистом, колесным скрипом и топотом тысяч ордынских копыт, пьяная от грабежей и убийств, хлынула шкуровская забубённая конница.

Предкомбеда лежал ничком на самом солнцепеке, уткнувшись лицом в рыжую выгоревшую траву. Грязная, в кровавых, еще карминных, не заржавевших пятнах холщовая рубаха была задрана до плеч; по голому сероватому телу ползали красивые зеленые мухи.

Так и лежал весь день.

Мимо – на Воронеж – ломила конная орда. Нескончаемо тянулся обоз, базар на колесах, где бородатые, краснорожие

станичники – «Эй, бабы, налетай!» – покрикивали, зазывали, размахивая бязевыми кальсонами, разворачивая штуки пестрых ситцев, награбленных на пути «доблестной» белой армии.

Шумел, двигался базар, свинья визжала, и среди этого дикого, пыльного столпотворения ворвалось вдруг такое знакомое и ненавистное:

Дитя, не тянися весною за розой…

На обозной фурманке хрипел, задыхался граммофон.

В эти дни вдруг исчез Александр Васильич.

Вечером к железнодорожной углянской площадке подошел красный бронепоезд и ударил из трехдюймовки по большаку. Оттуда враз ответили, завязалась пушечная пальба; над селом, посвистывая, полетели снаряды. Все растерялись: шутка ли – пушки! Что делать?

– Надо у Александра Васильича спросить, – сказала мама. – Офицер все ж таки.

Кинулись искать, а его и след пропал.

– Царица небесная! – ахнула мама. – Да куда ж он подевался? Ночь темная, из пушек палят, а он…

– Он к белым ушел, – уверенно сказал я.

Мне никто не возразил, никто не высказал удивления, и я понял, что догадка моя правильная. Все лето отсиживался на чердаке, дожидался и вот дождался-таки.

А снаряды над нашими головами все посвистывали да посвистывали, и мама звала всех лезть в погреб, спасаться. Тогда Алексей Иваныч промямлил сонным своим умирающим голосом:

– Пушечное *ядро,* ударяясь о землю, разрывается на множество мелких осколков, которые летят во все стороны веерообразно. Садитесь на пол, господа. Такая позиция до некоторой степени предохранит нас от летящих осколков.

Настасья Павловна простонала:

– Ох, искушение…

И зашуршала впотьмах шелковой юбкой, пристраиваясь в уголке за книжным шкафом, подальше от окна.

Всю ночь осеннюю, долгую перепуганные обитатели нашего дома просидели на полу. А у меня из головы не шли зеленые мухи на заголенной спине убитого, скрип обозных колес и азиатский шум торговли.

И омерзительпый хрип граммофона:

Дитя, не тянися…

Пропылили, прогайкали шкуровцы по большаку, и опять стала тишина. Лишь в воронежской стороне иногда словно бы дальняя гроза погромыхивала.

Деревенское наше бытие потянулось прежним, раз навсегда заведенным, тысячелетним порядком. Стояли погожие дни, и насущная забота была – убирать картошку. Всюду покрикивали пахари, лошадь фыркала, о железные днища ведер гулко, приятно постукивали крупные красноватые картофелины.

И снова на гумнах цепы залопотали.

Меня же словно прорвало: в эти обманчиво-тихие дни отчаянно вдруг кинулся в сочинительство. Стихи летели один за другим, без помарок, лишь ветерок посвистывал в ушах, как бы оглушенных. Рифмы сыпались не хуже картошек по желобу в черную глубину погреба. Вкус был неприхотлив, годились любые. За две недели я измарал толстую самодельную тетрадь и, как ни презрительно отнеслась Настасья Павловна к Аполлону Коринфскому (да и сам я, пораженный красотой бунинских строк об алой шубе на снегу, как-то, сказать по правде, усумнился в Аполлоне), – все равно продолжал путаться все в тех же коринфских «платах узорчатых», «окошках косящатых», во всех тех ложных святорусских красотах, какие ну прямо-таки ослепили и оглушили меня.

И вот ведь что удивительно: множество ремесленных, фальшивых картинок, а-ля рюсс видел в иллюстрированных журналах – в «Родине», в «Ниве», и чувствовал их фальшь и не любил их, предпочитал им языческую, диковатую рериховскую древность или страшные славянские видения Врубеля, но в поэзии почему-то именно Аполлон заворожил, и не сразу, ох, не сразу избавился я от его чар.

Но все-таки избавился наконец, да так, что и вовсе перестал пачкать стихами бумагу, впервые уразумев ничтожность своих поэтических попыток.

Это так произошло.

Любовался однажды своей стихотворной стряпней, и ужасно вдруг захотелось прочесть кому-нибудь вслух, «отдать на суд», как говорится. Но было стыдно признаться, что сочиняю, – засмеют, чего доброго.

Ведь до сих пор все сочиненное я держал в тайне, подписывал выдуманными, чужими, но обязательно красивыми, звучными именами. Какими псевдонимами я ни украшал себя! Я был и Кудеяром Славянским, и Ярославом Владимировым, и даже скандинавом – Гаральдом К., и еще, и еще кем-то, уж и не припомню.

Впервые прочесть свои стихи… Но кому же?

Ах, да Настасье Павловне, конечно, кому же, как не ей! Ведь это она сказала, что я *удивительный…*

И вот как-то раз подстерег ее. Она одиноко сидела на садовой скамейке и что-то записывала в маленькую красивую книжечку. Я давно заметил эту переплетенную в красный сафьян тетрадку или, сказать верней, альбомчик, где она вела какие-то записи.

Однажды Настасья Павловна оставила на столе свою книжечку, и я воровато заглянул в мелко, бисерно исписанные листки. «Господи, господи! Спаси, вразуми несчастную бабу! Сны, сны проклятые, сладкие, ужасные… Как безумная, жду страшного полуночного часа, когда придет он, коварный искуситель…»

Я ровно ничего не понял, и только жалко сделалось, что такую красивую тетрадку марают зря. Алый переплет, листы с золотым обрезом… Мне бы такую!

Итак, Настасья Павловна сидела на скамейке. Я вежливо покашлял. Она вздрогнула.

– Фу, Володя, как вы меня напугали… Разве так можно! Что это у вас?

– Стихи, – сказал я. – Можно, прочту?

Она нацепила пенсне.

– Стихи? – прищурилась. – Это интересно. Чьи же?

– Да вот, в журнале «Север», за тысячу девятьсот первый год. Вчера нашел. Какой-то Кудеяр Славянский…

– Ку-де-яр? – Пенсне слетело, как вспугнутая птичка, показалось даже, что чирикнуло. – Славянский? Скаж-ж-жите пожалуйста!

Что-то такое послышалось в этом «скаж-ж-жите пожалуйста», что, будь самую малость искушеннее, я сказал бы небрежно, подлейшим образом подлаживаясь к насмешке, предавая самого себя, что-нибудь вроде: э, да так, ерунда! – и, конечно, шмыгнул бы в кусты. Но нет, задыхаясь, проглатывая слова, стал читать только что сочиненную поэму о киевском князе Аскольде, вероломно убитом Олеговыми дружинниками. Строчек сто, не меньше, была поэма, и я мысленно бранил себя, что не то выбрал, надо бы покороче. Дойдя до середины, где:

Пристала к берегу ладья,
И это смерть была твоя! —

или что-то в этом роде, я совсем уж зарапортовался и начал было подумывать о бегстве, но пересилил волнение, отбарабанил до конца, и слова:

Закат над Киевом пылал,
А он, мечом сраженный, пал, —

произнес с декламацией и даже, кажется, по-актерски этак сделал ручкой.

И ни разу не взглянул на свою слушательницу – так оробел, так обессилел.

– Боже, неужели такую бездарную чепуху напечатали в журнале? – удивленно и с каким-то отвращением сказала она. – И вам это нравится? Ка-а-ак?! Вы, кажется, даже переписали для себя этот вздор в свою тетрадь?!

Все было кончено. Все оказалось бездарной чепухой.

Вздором.

Я дождался вечера и, когда стемнело, собрал все свои сочинения, завернул в пожелтевший номер позапрошлогоднего «Русского слова», аккуратно перевязал сверток веревочкой и кинул его в старый колодец, куда кидали всякий хлам, мусор, ржавые ведра и даже однажды – я сам видел – слепых котят.

В темноту забвения падал мой сверток долго-долго, шелестел

газетой, цепляясь за черные, гнилые бревна сруба.

Затих…

Именно тут мне котята вспомнились.

Но ведь тем-то и прекрасна юность, что не бывает у нее глубоких, кровоточащих ран. Мелкие царапины, ушибы, – все враз, как на собаке заживает.

Стихи постыдны. Стихи – вздор. Но рисование…

Рисование – вот стала моя жизнь.

Но удивительное безразличие вдруг наступило. Когда собирались вырезки из журналов, папки мои тесно заселяли сомовские жеманницы, изысканные «версали» Александра Бенуа, фантазии Замирайло, кустодиевская пестрая Россия, жутковатые древности Рериха. Я был очень разборчив. А нынче стал набрасываться на все, все проглатывал – и бытовые сценки Владимира Маковского, и античности Семирадского и Альмы Тадемы, и баталии Самокиша, и даже (и очень охотно!) салонные штучки Елизаветы Бём, – все, все валилось в мою прорву, лишь бы рисовать, рисовать… У чьего бы огонька ни греться, к какому б свету ни брести из черных потемок старого колодца.

С поэзией, казалось, покончено навсегда.

Географический атлас Шокальского и Петри беспощадно разрывался на малевание картинок.

На обороте северной Америки – птица вещая Гамаюн.

Под австралийским континентом – билибинские узоры.

Под Гренландией – бёмовские пупсы в боярских шапках и кокошниках, затейливая славянская вязь.

Для рисования день казался короток.

А ведь надо еще копать картошку, караулить гусей, чтоб не забрели на чужие капустные огороды, встречать из стада корову-гулену, чистить ее закуту.

И война – нет-нет да и громыхнет где-то поблизости, а то и совсем рядом.

Был слух, что в Воронеже громят евреев и вешают большевиков. В эти тревожные дни в нашем доме появились воронежские беглецы – семья врача-еврея и мамина племянница Варечка. Они подтвердили слухи: шкуровцы громили и вешали.

И вот полиняла ясная, погожая осень, стали перепадать дожди; туман утрами плотно заволакивал сизые, красные и золотые углянские сады; дни глядели робко, подслепо, ночи пластались могильной чернотой.

С каждым днем все чаще, все настойчивее, но пока еще глухо,

отдаленно гремело в воронежской стороне. И вдруг однажды, начавшись с рассветом, орудийная перебранка продолжилась весь день, то затихая, как бы уходя вдаль, то нарастая, приближаясь стремительно. Вздрагивала земля, странно, непривычно дребезжали стекла в деревенских окошках, мирно мерцающих сквозь оголенные ветки палисадников.

Под вечер заглянул Будрецкий, попросил почитать любимого своего Генрика Сенкевича.

– Вы ничего не знаете? – шепнул таинственно. – Сам Буденный идет…

Как заговорщик, испуганно поглядел вокруг, подмигнул, к тонким губам приложил палец:

– От то даст белякам, пшепрашам, под задницу!

Ушел, потирая руки, посмеиваясь, оставив меня в недоумении, в растерянности: какой еще Буденный? Я впервые услышал это звучное, удалое имя; оно показалось мне чуть ли не сказочным, богатырским. Да как же не богатырь, когда сам страшный Шкуро ему нипочем, когда не воевать с генералом идет, не трудным приступом брать Воронеж, а просто – дать белякам под задницу!

Каков же он, этот таинственный и великолепный Буденный? Образ его возник в моем воображении враз: алый весь с ног до головы, и алый флаг, и бешено мчащийся гривастый конь, – все алое, такое яркое, пылающее, что глазам нестерпимо. Должен признаться, однако, выдумка не мне принадлежала: алого всадника я увидел на обложке календаря, подобранного на мусорном полу разгромленного шкуровцами волостного исполкома. Растерзанная, валялась книга среди бумажного хлама, под выбитым окном; след грязной подошвы безобразно чернел на алом витязе, но он все равно сиял, летел победно в алых вихрях, и алые облака, как разрывы снарядов, полыхали над ним…

– Как хотите, – сказала Настасья Павловна, разглядывая всадника, – но в этом что-то есть…

– Что же тут может быть? – скучно зажевал Алексей Иваныч. – Одна глупая фантазия, красных лошадей в природе не бывает, это противоестественно.

А в волость мы ходили с Михаилом Иванычем. Он шел в поисках бумаги. Школьникам решительно не на чем было писать, тетради требовались позарез. И, как недели с две стояло мертвое затишье, война помалкивала, то и взбрело нашему учителю на ум, что, верно, какое-никакое есть же начальство в волости, ребятишек учить надо – как же без бумаги-то?

Никакого начальства в волости не оказалось.

Дом, где помещался волостной Совет, черными выбитыми

окнами оскорбленно, мрачно глядел на деревенскую площадь. Развеянные ветром, исполосованные, прибитые дождем, там и сям валялись клочья канцелярских бумажек. Нехорошее слово, наляпанное дегтярным квачом, гнусно пялилось с кирпичной стены.

Мы вошли в дом. Там свистели, гуляли холодные, сырые сквозняки; обрывки каких-то служебных бумажек шелестели под ногами, перемешанные с битым стеклом и рыжими палыми листьями.

Тут я и нашел растрепанный календарь.

Итак, весь день гремело.

А к ночи далекий пушечный гул умолк, и стекла успокоились. Ровный осенний дождик зашумел, обложной, без конца и краю, И все у нас сразу позаснули, обошлись без вечерних разговоров, какие всегда как-то сами собой завязывались да так и вились веревочкой весь долгий вечер, чаще всего впотьмах, потому что не было керосина. И вдруг – в самый глухой сон – близко к рассвету случился переполох: разбойно ломились в ворота, простуженный, злобный матерок метался по улице в кромешной тьме.

– Отворяй… так твою!

В осатанелом лае хрипел, задыхался за окном наш черный, злобный Марсик. Дрожащими руками отец никак не мог справиться со скверными спичками; шипящая вспышка выхлестывала из черноты его бледное, словно гипсовая маска, лицо, розовые пальцы, заслоняющие трепетный огонек восковой свечки.

А между тем *они* уже во дворе. Смачный топот множества копыт по непролазной осенней грязи… И уже дверь трещит под ударами ружейных прикладов.., Гремят на крылечке тяжелые солдатские сапоги…

И вдруг – как щелк пастушьего кнута – выстрел из пистолета и жалобный взвизг собаки. Грохот железной щеколды в сенцах и разом – тишина. В тускло освещенную комнату, тяжело шаркая ногами, ввалились – в мокрых, потемневших от дождя шинелях, черные, с длинными алыми хвостами башлыков, с каким-то нерусским говором…

На растянутой косматой бурке – офицер, молодой, почти мальчик, кудрявый, по-южному смуглый, похожий на Пушкина-лицеиста. Капельки дождя росно блестели на желтом, уже смертно сереющем лице, черные крутые кольца волос прилипли к влажному костяному лбу.

Вместе с буркой его опустили на оттоманку, накрытую теперь

пестрой постилочной дерюгой. И вдруг сразу опустела комната, исчезли алые башлыки, и лишь двое остались – седой, с горбатым носом, тучный старик в полковничьих погонах, и другой – бородатый, в гремящем брезентовом мокром плаще, в запотелых, тускло, равнодушно поблескивающих очках.

– Ну-ка, матушка, – длинным пальцем он поманил перепуганную маму. – Горячей воды! Быстро! – И, открывая потрепанный кожаный чемоданишко, вдогонку: – Побольше! И таз…

Приподняв шинель, накинутую на раненого, выпростал его руку, поискал пульс.

– Ну что? Что? – шепотом спросил старик. – Ну-у? Ну?

Бородач сердито сверкнул очками и, вдруг увидев нас, столпившихся в двери, сказал раздраженно:

– Это не театр, господа! Попрошу…

Конечно, всю ночь не спали. А утром…

Впрочем, эти чуть подсиненные потемки еще и утром-то не хотелось назвать. Конец ночи – вот так, пожалуй, вернее.

И шелесты, и шорохи невнятные были какие-то еще ночные: капли с крыши, мышиная возня за обоями, испуганный шепот обитателей нашего дома. Я хотел заглянуть в ту комнату, где лежал раненый, но только взялся за ручку двери, как рядом зашуршало:

– Боже мой… что ты делаешь! Они же не велели…

Но я все-таки заглянул. Там свеча догорала, пламя потрескивало, вспыхивало неровно. Заложив руки за спину, старик стоял у окна, вглядывался во тьму. Тот, другой, в очках, задрав бороду, сидя спал на стуле. Брезентовый дождевик на нем торчал коробом. Я силился разглядеть раненого, но горбатая самодельная оттоманка совершенно растворялась в потемках, и, кроме черной бурки и кинутой на нее шинели, я так ничего и не увидел.

Затем было бегство.

Все произошло так скоро, что мы и опомниться не успели. Гулко хлопнула дверь, загрохотали сапоги. Лошадь заржала тревожно и весело. Голоса – злые, охрипшие:

– Поить, вашескобродь, водил…

– Какое, к черту, поить! Живо!

– Через сад! Айда через сад!

И треск кустов за стеной, и вихрь сумасбродной скачки. Лепешка жирной грязи шмякнула о стекло окна.

– Ах ты ж, боже мой, – сказала мама, входя. – Ну как с ума

люди посходили… Мальчик-то, мальчик! – Она всхлипнула, устало опустилась на стул. – Он-то чем виноват?

Алексей Иваныч сказал:

– Да вы, тетечка, не расстраивайтесь… Слава богу скажите, что вас не тронули.

Рассвело – и ветер поднялся.

Сердито свистел, гнул верхушку старой ветлы у порот, гулял по мокрому саду. На дворе было месиво – перекопыченная грязь, конский навоз, клочья сена. Сизо-серое небо висело низко над сараями, цеплялось за потемневшую солому крыш.

В дальнем углу двора, у старой погребицы, чернел убитый Марсик. Очень какой-то плоский, несуразно длинный, с косматым, в репьях, хвостом, он валялся в коричневой луже, странно, неестественно подогнув голову под переднюю лапу.

Я закопал его в саду под старой грушей. Она росла диковинно – в два раскоряченных ствола; на каждом были разные сорта: на одном – ярко-желтые лимоновки, а на другом – темно-зеленые, слегка подрумяненные сбоку бергамоты. Почти у самой земли, в толстом, необхватном основании, откуда росли оба дерева, чернела длинная, узкая щель дупла. Иным летом в дупле поселялись серенькие, с приятной пестринкой небольшие птички – вертишейки.

Справив мрачное дело могильщика, я медленно побрел домой. Какое-то смутное чувство томило: что-то еще надо было сделать для завершения обряда – но что?

А день к исходу разгуливался помаленьку, тучи пошли выше, кой-где на западе и вовсе порвались, и в просветах задумчиво улыбнулось осенней вечерней зарей золотисто разгорающееся небо. И тогда я сразу понял, что требовалось: снял с плетня три самых белых, дождем и ветром любовно обточенных конских черепа и вздел их на черные сучья старой груши. Обряд близился к завершению, оставался пустяк – прикатить со двора большой лысый камень, навалить на собачью могилку.

Но в это время с улицы послышался посвист, бубен забренчал, песня взвилась молодецкая. Я кинулся за ворота и оторопел: развеселое, пестрое войско шумно пылило по улице.

Через Углянец шел Буденный.

Во всю ширину улицы клокотала кавалерийская лавина. В ее потоке всякое виднелось – и шлемы богатырские, и алые звезды, и шитые малиновые петлицы на грудях зеленых гимнастерок, и шапки-кубанки с ярчайшими донышками, в перекрестных позументах, и кожанки, неизбежные для тех лет, верная примета

комиссаров, кожанки, потертые до белизны, или новенькие, ласково, хромово скрипящие…. И даже рыжая нагольная овчина… И даже риза поповская сверкнула каляным серебром… А уж штаны… Красные, зеленые, голубые, с кожаными леями, немыслимой ширины галифе… И чубы! Чубы – пшеничные, сивые, смоляные. И седла поскрипывали упруго. И бубны побрякивали. И тонко, воинственно о медные наконечники сабельных ножен позванивали стремена…

А кони!

Оскаленные морды, жаркие бархатные розоватые храпы, медовая золотистость, небесная голубизна припотевших движущихся боков и крупов – гнедых, буланых, караковых, вороных, игреневых… Как необыкновенно! Как весело!

И все это надо было хорошенько разглядеть, охватить глазом все, все до мелочей, до последней ленточки на груди, до грязной обмотки, до обтрепанного темляка на сабельной рукояти, – весь поток войска, бурлящий между двумя рядами деревенских изб. И сделать это представлялось единственно возможным, конечно, не с земли, не из-под частокола лошадиных ног, а обязательно с высоты, с птичьего полета…

Мигом взобрался я на старую нашу ветлу. И тут вдруг, разъярясь, солнце хлынуло с необыкновенной, прямо-таки летней силой – багряное, предзакатное. Длинные ослепительные лучи выхватывали из серой тесноты вечерней улицы то на всю ширину растянутые, расписные меха голосистой ливенки, то огненный бант на шапке удалого запевалы, то яростный блеск звонкого, поющего серебра в колонне боевых трубачей…

В ураганном потопе, в грозных обвалах алого света шла, пела, ликующей грозой лилась великая, поистине красная дивизия, о которой вскоре сложат такие удивительные, такие могучие песни!

А в сумеречной синеве осенним перелетом тянулись гуси – высоко над нашим селом, над Усманским бором, над старой углянской часовней; и были розовы их крылья, и, в бесчисленных деревенских прудках и копанках отражаясь, летели розовые гуси. И это было красиво до неправдоподобности, и нет слов, чтобы рассказать, как это было красиво!

– Айда, хлопчик, с нами Шкурова кончать! – крикнул мне черноусый конник во франтовской голубоватой бекешке, с малиновой перевязью на лихо заломленной косматой «маньчжурской» папахе. И захохотал белозубо, раскатисто, добродушно приглашая к веселью и меня, случайного восторженного свидетеля его богатырского похода.

Я улыбнулся счастливо, сконфуженно.

День-другой – и вот в раннем, свежем, с морозцем, утре, за белой толстой кошмой осеннего тумана, чуть приглушенный им, – тоненький, долгий паровозный свисток: первый рабочий поезд пошел на Воронеж!

И по тому, как заливисто, победно засвистел, было понятно, что не броневик, не летучка с платформой, на которой трехдюймовые пушки, как это почти всякий день повторялось, а именно – мирный рабочий поезд, десяток куцых зеленоватых вагончиков четвертого класса, «максимов горьких», как их называли.

Поезд прогремел, разбойно присвистнул, словно бы давал знать, – и на другое утро, сквозь такой же морозный туман, на углянскую нашу площадку потянулась мастеровая братия, чтобы поспешать к своим рабочим местам – в воронежское паровозное депо, в отроженские вагоноремонтные мастерские. Чуть ли не половина углянских и окрестных сел мужиков работала на железной дороге. Традиция была давняя, с прошлого века, с самого начала Юго-Восточной, когда она еще была внове, когда ее еще «чугункой» прозывали.

…В сумочках – харчишки простецкие, одежа полумужицкая, полурабочая (в стародавние времена и лаптишки не в редкость), в мазутных пятнах, накрепко машинным маслицем продубленная; от копоти, от гари паровозной, котельной, плотно набившейся в морщины лица, в грубоватую кожу ладоней, не дочиста отмытые утрами, по дороге на поезд, а вечером, после трудового дня у станков, у горнов, у наковален – так и вовсе арапски-черные, – вот они, мужики наши – углянские, забугорские, орловские, макарьевские, балдиновские!

Шутка ль сказать – в ненастье, в сивер, в осатанелый буран, каждый божий день – версты четыре, а то и побольше, и все десять, – еще темной утренней зарею отмерь к поезду, да работу, да назад, в вечерних потемках, после работы, столько же, чтобы поесть лишь дома, кой-что по хозяйству справить, вздремнуть вполсна да и снова на поезд, снова в цех, который от многолетней привычки уже как бы вторым домом сделался.

Ну, не новобылинные ли, степной полынью, хлебом и горячим металлом пропахнувшие богатыри!

И эта мужицкая сумочка с харчами, такая на вид легонькая, – а поди подыми ее! – не та ли вековечная, Микулина?

В послевоенном, в сорок шестом было.

Я тогда жил на станции Графской, в Краснолесном. Как-то раз ехал из города после работы; соседом моим в вагоне оказался крохотный, сухонький старичок. Он как вошел, так, ни слова не молвя, и приткнулся в уголке, задремал. По его обличью, по тому, как он сразу, привычно заснул в вагонном шуме, признал я в нем человека спокон веку рабочего и старался сидеть тихонько, смирно, чтоб не тревожить его сон, какой не меньше хлеба был ему нужен.

Случилось далее, что поезд наш, так шибко, весело разбежавшийся под крутой воронежский уклон, почему-то вдруг задержался в Отрожке и простоял с полчаса лишних, и тишина замолчавшего поезда разбудила старика.

– Не то в *Раздельной* застряли? – поглядел в окошко.

И как сказал это слово – Раздельная, – так стало понятно, что не меньше семидесяти моему соседу: крупный узел Отрожка именно Раздельной назывался в конце прошлого века.

Завязался у нас разговор. Я спросил, давно ли он ездит; оказалось – с девятьсот девятого.

– Тридцать осьмой годок, – сказал с гордостью.

– Если в прямую растянусь, так небось уже и до самой луны доехали? – пошутил я.

– Обязательно! – засмеялся старик. – Бесперерывно.

– Неужели без перерыва? Так-таки день в день?

– Да нет, брехать не хочу, два раза пропуск случился. В первый – это когда белые набежали, в девятнадцатом, стало быть, с месяц не выходил. Ну, и вот в сорок втором, при немцах, год без малого…

«До луны доехал», это в поезде. А пеший? Далеко ль пеший дотопал? Был он сам из Балдиновки, а от нее до Тресвятской станции (он ее называл по-старинному – Углянкой) – восемь верст. Туда-сюда, в сутки-то – шестнадцать!

Уму непостижимо.

Итак, пошли поезда, война отгремела в Углянце. А тут вскоре и снег выпал. Стала белизна. На ней узорчато, причудливо зачернели деревья, и как страшно, как дико на оголенной старой, раскоряченной груше выглядели почему-то вдруг сразу пожелтевшие конские черепа.

Часто забегал Будрецкий. «Едну минутку, проше пане… Еще не найдется ли про старину, пшепрашам, про любовь…» Он аккуратно возвращал взятые книги, всегда спешил куда-то, но всегда оставался пить чай из сушеной земляники. А как день-деньской торчал в лавке, на людях, то новостей у него постоянно бывало множество. И они из него как из дырявого мешка

сыпались.

И прежде всего – о недавних делах воронежских.

Так мы узнали о том, что все балконы на Дворянской в дни владычества белых были разукрашены коврами; что сам генерал, произнося торжественную речь по бумажке, запнулся и вместо слова *святая* сказал *сметана;* что известный всем фабрикант Сычев в сильном подпитии, с бутылкой в руке, метался по городу на лихаче («пежо» был давно реквизирован) и благим матом орал «виват!» и «живио!». Что, наконец, в шикарную гостиницу «Бристоль», где располагался генеральский штаб, явился будто бы какой-то щеголеватый офицер с пакетом и, передав его в руки самого Шкуро, ускакал; а в пакете бумага была: «Сдавайся, сволочь! Сроку тебе, белая гнида, один день на размышление». И подпись стояла: комкор Семен Буденный.

Новости были смешные. Война из нашего зимнего деревенского затишья казалась какой-то теперь не настоящей, что ли, не очень страшной. Ничтожен и смешон был генерал, спутавший святыню со сметаной, но…

Но ведь это он построил виселицу на торговых Круглых рядах; это он повесил четверых воронежских коммунистов; это его заплечные мастера избивали и убивали ни в чем не повинных людей в темных, сырых подвалах старой гостиницы «Гранд-отель», где злодействовала белая контрразведка…

И вспоминался день – душный, пыльный… Тамбовский большак и мертвый предкомбеда у обочины дороги, уткнувшийся лицом в рыжую, выгоревшую придорожную травку… И мухи зеленые на заголенной спине.

И скрип ордынских колес.

И бязевые подштанники: «Налетай, бабы!»

И визг истошный граммофонный: «Дитя, не тянися весною за розой…»

Как же не страшно?!

Разбежались из щели тараканы, и как-то враз опустел наш углянский дом.

Даже Леля, сестра, уехала в музыкальную школу доучиваться по классу фортепьяно у некоего заезжего петербургского знаменитого профессора.

Он в наш город пожаловал от питерской голодухи.

Впрочем, и школа уже не школой называлась, а государственной кон-сер-ва-то-ри-ей.

Тут-то и пошел разговор обо мне – как быть, куда определиться. Гимназии больше не существовало, вместо нее

учредились смешанные советские трудовые школы. Мама считала, что сидеть за одной партой мальчику и девочке – безнравственно; она не хотела, чтобы я учился в смешанной школе. Тогда я робко попросился в художественное училище, и родители нашли эту мысль разумной, согласились. Но была ли в Воронеже художественная школа – этого никто не знал.

В конце концов рассудили очень правильно: раз есть кон-сер-ва-то-ри-я, то как же не быть и художественной школе?

И стала мама снаряжать меня в город.

Дело это по тем временам было нелегкое. Хватились – ничего нет, изо всего вырос, все надо новое. Зима же в тот год стала рано, в ноябре закурили многодневные бураны, затем морозы ударили. Самое главное оказывалось – одеть меня потеплее, а гимназическая шинель, когда я попробовал примерить ее, сразу в двух местах лопнула по шву.

– Ах, ты ж головка горькая! – вздохнула мама. – Придется, видно, кой-что из старья перешить, Яше Стручку поклониться…

В наших краях, как и во всем Черноземье, деревенские избы все больше кирпичные, с подслепыми окошками, между которыми по красному кирпичу намалеваны мелом всяческие фигуры: петухи, елки, разлапистые цветы.

В такой вот избе и Стручок жил, и хата его снаружи ничем не отличалась от других, но внутри было все на свой образец. Он жил чисто и как бы по-городски.

Нас встретила его жена – бледная, красивая, уже далеко не молодая женщина с потупленными глазами, вся в черном, как черничка, в черном же платке, низко надвинутом на брови. Она поклонилась каким-то странным поклоном – низко перегибаясь в поясе, словно бы сламываясь под прямым углом. Так в былое время кланялись монашки; «метать поклоны», это у них называлось.

Самого Яши не оказалось дома, он что-то мастерил во дворе, в сараюшке, столярничал. «Погодите минутку, – сказала Яшина жена, – сейчас его кликну». И пока она ходила за ним, я с любопытством разглядывал Яшино жилье.

Как и во всех других избах, половину помещения занимала русская печь. Однако устье ее было отгорожено деревянной, оклеенной цветными шпалерами переборкой, так что всякое печное хозяйство – рогачи, чугуны да и сама судняя лавка – все было скрыто от чужого глаза. В первой же комнате полы красились красно-желтой краской, и тут поражала чистота и женская забота об уюте: половички, стеклянная горка с дешевой посудой, иконы в белых рушниках и фольговых завитушках,

венские стулья и даже картина в узенькой самодельной рамочке, писанная масляными красками, – зимняя тройка удалая при свете месяца. В ближнем углу, возле окошка, стояла, накрытая колпаком, зингеровская ножная машинка. Над пышной деревянной, плотницкой работы кроватью под лоскутным одеялом и горою разноцветных подушек, висело охотничье ружье и патронташ. Охотником Яша был давным-давно, еще с мальчишества.

Он скоро пришел, и мама сказала, какая у нас к нему нужда.

– Хороша дубленка! – похвалил Яша старый отцовский тулуп, из которого собирались смастерить мне что-то вроде полубекеши, – Замша, ну чистая замша! Славная выйдет вещь…

Через неделю Яша принес готовую одежку. Мне очень понравился ладный, действительно словно замшевый полушубочек.

А мама долго вздыхала, покачивала головой и наконец, когда Яша ушел, сказала сокрушенно:

– Едешь в город, а вид у тебя все ж таки какой-то деревенский… Ну, да что поделаешь, зато тепло…

Если б она знала, как через пятьдесят лет модники наши станут гоняться за этакими дубленками!

Не надо думать, что я как бы приостановил повесть для того лишь, чтобы похвастаться франтовским кожушком. Нет, тут другая причина. Вспомнилась вдруг полузабытая история с конфеткой на снегу, и дом Яшин вспомнился, где стеклянная горка, а на стене – ружье и картина с тройкой при месяце; да и сам он, Яша, и его похожая на монашку жена; и даже зимний денек нашего путешествия в Забугорье – серенький, задумчивый, с беловатыми загривками туч, предвещающих снегопад к ночи… И когда все это вспомнилось, понял, что все так четко отпечаталось в памяти не просто как многое из виденного, а как-то особенно, как давно прозвучавший голос из дивного хора, прошедший через десятки лет для того, чтоб вдруг волшебно отозваться во мне, в сегодняшнем.

Но почему именно это? Почему не другое?

Если б мы знали!

И как же тут снова не сказать об озарениях.

Многое множество накоплено в памяти странных мимолетностей, которые со мной навечно. И добро бы что высокое, героическое или ослепительно прекрасное, – нет! Вот Яша, например, с его уютным хозяйством. Вот стожок под снегом

и красные снегири на ветках, как райские яблочки.

Вот – шевелящийся свет от фонаря на потолке.

Черный колодезь и сверток со стихами.

Мужичище в маньчжурской папахе.

Театральный занавес, подсвеченный снизу, и деревянный стук разбитого пианино.

Нерусский черт с дирижерской палочкой.

Или синичка-иванóк весело свистит в весенней деревенской тишине еще сквозного, голого сада.

А то – осень, мокрые тротуары, извозчик дремлет возле бывшей самофаловской гостиницы, и вот, стуча о камни тяжелой тростью, идет не человек – великан, и я узнаю его: Маяковский!

– Владим Владимыч! Я же к вам за кулисы пробивался, да пожарник не пустил…

– Эх ты! – смеется Маяковский. – Пожарника не пробивший…

Сколько их, этих отзвуков, этих озарений!

Они возникают непроизвольно, в безбрежье памяти появляются вдруг, как Азорские острова в океане. И не в связи с чем-то, и вовсе не всегда кстати, но всегда стихийно и радостно.

И я буду проплывать мимо этих островов памяти, не спеша, пристально вглядываясь в их причудливые очертания, дополняя воображением то, что иной раз окажется скрытым в глубине заросших лесами и травами берегов.

Пока меня снаряжали – и ноябрь прошел. В Воронеж удалось попасть лишь в начале декабря.

Меня приютила все та же Варечка. Она служила в губнаробразе и уж, конечно, могла узнать, есть ли в Воронеже художественная школа и какие нужно сдать экзамены, чтобы туда поступить.

Варечка очень скоро все разведала: такая школа существовала. Но кто-то из ее сослуживцев отозвался о ней пренебрежительно и посоветовал пойти к некоему художнику Кожухову, уговорить его давать уроки рисования частным образом. Этот Кожухов, по словам Варечкиного сослуживца, был господин преважный, «академик», то есть окончил Академию художеств, и вообще-то до революции был человеком весьма и весьма состоятельным и даже помещиком и уж, конечно, никакими уроками не занимался.

– Но теперь, по нынешним временам, – вздохнул сослуживец, – может, и согласится. Тем более что мальчик ваш из деревни, возможна, значит, оплата, так сказать, натурой – картошечка, маслице…

И мы с Варечкой отправились к «академику».

Он жил где-то у Покровской церкви, возле Мясного базара. Нам открыла дверь уютная, чистенькая старушка в очках и черной кружевной наколке на зеленовато-седых волосах. На вопрос Варечки, дома ли товарищ Кожухов, сказала:

– Дома, пожалуйте-с.

И через ряд холодных комнат, заставленных какими-то сундуками и пыльной мебелью, провела нас к «академику».

И тут я разинул рот и, вероятно, так и не закрыл его в течение тех десяти минут, пока Варечка вела *светский* разговор с Кожуховым. Ослепленный сказочной роскошью убранства просторного Кожуховского кабинета, я обалдело пялил глаза на немыслимой величины ковер, на какие-то затейливые креслица и пудовые золотые рамы картин, изображавших полуголых и вовсе голых красавиц; на белую медвежью шкуру с настоящей свирепой мордой, с красной разинутой клыкастой пастью; на диковинные, аршинного роста вазы; на мольберт с неоконченным, видно, женским портретом (лишь тонкая розовая рука с лорнеткой была видна да чуть-чуть – плечо, а остальное скрывалось под серой тканью, небрежно накинутой на подрамник), и еще на множество предметов, мне совершенно незнакомых. И стоял столбом, ужасаясь своей дерзости: в овчинном кожушке, в мокрых валенках, с жалкой самодельной папкой – приперся на порог святилища…

Варечкин голос глухо звал откуда-то из черных глубин подземного царства: «Володя! Володя!»

– Ну, подойдите же, – со скукой и, как мне показалось, отвращением сказал «академик». – Покажите, что там у вас.

Что у меня!

Как-то враз, с невероятной, с беспощадной отчетливостью, уразумел вдруг, что ничего ведь у меня и нет: с десяток дурно срисованных и раскрашенных картинок… боже мой! Видно, пропадать мне сейчас, вот как глянет академик» на мою пачкотню да как закричит: «Вон отсюда, болван!»

А он, усатый, подтянутый, в военном френче, похожий скорее на офицера, чем на художника, небрежно полистал: «Очень миво, – прокартавил, – очень, очень непвохо…» – и посоветовал подать заявление в художественную школу.

Варечка робко спросила, хороши ли там преподаватели. «Академик» успокоил ее на этот счет, сказал, что преподаватели прекрасные, особенно Бучкури, который окончил Академию в классе Ильи Ефимыча Репина.

– Видишь, как тебе повезло, – радовалась Варечка, когда мы возвращались домой. – Будешь заниматься у репинского ученика,

не у кого-нибудь…

Метель начала посвистывать еще ночью, а к утру разбушевалась в полную силу.

Я оделся, выпил кружку горячего морковного пойла, которое Варечка почему-то называла чаем, схватил ведра и побежал на реку к проруби. Таскать воду было моей обязанностью, водопровод не работал, замерзшие трубы только сипели.

Улица, на которой я жил, нынче называется улицей Дурова. Тусклым декабрьским днем, да еще в метель, дуровская усадьба выглядела фантастично. Занесенная снегом, страшно щерилась огромная голова Гаргантюа; зловеще скрипела полуразрушенная кровля китайской кумирни. Из-за высокого дощатого забора белым привидением торчала в снежном неистовстве, обломки рук простирая во мглу, античная богиня Артемида, или как там ее, – с глазами пустыми, мертвыми и с блаженной, раз навсегда окаменевшей улыбкой. Она равнодушно, беззлобно глядела, как по обледеневшей круче, громыхая железными ведрами, я весело скатывался к проруби.

После осеннего нашествия белых генералов истерзанный город остался без света и без воды. Темно было в Воронеже и холодно. Нерадостно. А я, видите ли, скатывался *весело*. И черт его знает, с чего это меня так распирало! Тогда не понимал, конечно, но нынче, с верхушки своих лет, вижу: от зеленой, беззаботной юности. В самом деле, кого в тринадцать лет не распирает радость жизни, все равно – легкой ли, трудной ли, – просто жизни.

Мне же, кроме всего, в тот памятный декабрьский день тысяча девятьсот девятнадцатого года предстояло еще идти поступать в художественную школу. Варечка сказала: «Натаскаешь воды – и ступай себе с богом». И как-то в мыслях моих так получалось, что вот натаскаю полную кадушку – и путь в художество сразу откроется.

До самого обеда ходил и ходил с ведрами мимо дуровского забора. И так хорошо, так уютно посвистывала метель… И странно, каменно улыбалась белая богиня.

Школа называлась «Художественные мастерские». Возле Каменного моста здание это и посейчас еще сохранилось – узкий краснокирпичный фасад, две колонны подъезда, полуциркульное большое окно второго этажа.

Я заявился туда часа в три, не зная, что с часу до пяти – перерыв, занятий нет. И как на дворе стояла стужа, метель, то завхоз мастерских, важный старик с диковинной бородой в виде

двух в разные стороны торчащих веников, сжалился и разрешил посидеть в мастерской, подождать вечерних занятий.

Он ушел, оставил меня одного, с глазу на глаз с чудесами. И тут я, признаться, оторопел: кругом на мольбертах еще влажные, остро пахнущие масляной краской – холсты, холсты… А на них – боже ты мой, что на них! – мясистые женские тела – лиловые, зеленые, синие, кровяные (в этот день писали обнаженную натурщицу) ; на иных – гигантские картофелины, глиняные обливные корчаги, медные чайники, человеческие черепа…

И все – в невероятных, великанских размерах, в невероятном цельном цвете (синий так синий, желтый так желтый, без полутонов, без смешения красок), ревущий живописный поток. Молодость дерзала, дерзила, насмехалась, озоровала. Воронежские ребята притворялись французами – кубистами, дадаистами, супрематистами… Проще сказать – взбрыкивали, как телята на вешней травке.

А мне, тринадцатилетнему, возросшему в деревенской простоте, для кого звонкие имена Сезанна, Ван Гога, Дерена и Брака были лишь звуком пустым, – мне весь этот живописный шабаш был дик и непонятен. Я ведь так разумел: небо – голубое, трава – зеленая, тело – розовое, белое, коричневое. Все, как видишь, не мудрствуя. И вдруг эти голые женщины – фиолетовые, багряные, словно освежеванные тушки… Эти ноздрястые картофелины с кухни сказочных великанов… Эти нахальные, кривобокие корчаги…

Мне сделалось страшно, я уже подумывал бежать в свой холодный уголок на Мало-Садовой, и там, примостясь у скудной коптилки, разглядывать свои сокровища, срисовывать что-нибудь милое, понятное. Или старательно переписывать в особую тетрадь стихи из книги, взятой в Кольцовской библиотеке:

Если б вовремя к вам я прибыл,
Вы, мои отдаленные предки!
Вы собратом гордиться могли бы,
Оценили бы взор мой меткий…

Мне легко далась бы наука
Поджидать матерого тура.
Ах, я чувствую гибкость лука,
На плечах моих барсова шкура…

Голова кружилась от этих стихов! Еще немного – и я убежал бы позорно. Но начали собираться ученики, молодые художники, и сразу сделалось шумно. Появилась Наталья Ивановна,

маленькая, очаровательная, в белом заячьем треухе. В ней я удивленно узнал ту, что новоявленные Матиссы так безжалостно изуродовали на фиолетовых и кровоточащих холстах. Она, сама художница, тут что-то вроде секретарши представляла собой: записала мою фамилию, выдала лист серой оберточной бумаги, уголек и сказала, что я принят и могу начинать.

– Что начинать?

– Рисовать, конечно, – засмеялась она.

– А что рисовать?

– Фу, боже мой! Да что хотите, вон хоть Геракла, например… (В темном углу стоял пыльный гипсовый Геракл.) А еще лучше – вот сейчас разожжем печку и станем рисовать обнаженную натуру.

Я приколол кнопками бумагу и прилежно принялся за Геракла. Впервые приходилось копировать не плоскую картинку, а объемный предмет, и это оказалось так трудно! Никак не мог разместить этого здоровенного голого мужика на листе бумаги: он выпирал из него, и я бесконечно сбивал тряпкой угольный набросок, чтобы снова начать и снова запутаться. Отчаяние овладело мною, «беги, беги!» – зашептало трусливо…

И тогда пришел дивный старик (он еще, конечно, не был стариком, но с точки зрения моих тринадцати…). Огромный, с реденькой, просвечивающейся на впалых щеках светлой бородой, с горящими, как у Льва Толстого на репинском портрете, глазами, весь какой-то необыкновенный, – такого раз увидишь – и не забыть.

Это был Александр Алексеич Бучкури. Он подошел ко мне, спросил – кто я, откуда. Я сказал.

– Может быть, вам это неинтересно? – нахмурился, покивал на Геракла. – Подождите-ка…

И принес гипсовую лошадку с жеребенком.

«Ну, вот это другое дело, – подумал я, – это в момент…» Перевернув бумагу, бойко зашуршал угольком. Начал с головы, нарисовал шею, холку, и – ах! – линия спины, не дойдя до плавного изгиба на крупе, снова беспомощно ткнулась в край листа; милая, знакомая русская лошадка так же не пожелала уместиться в пределах бумаги, как и упрямый иноземец Геракл.

Запутавшись в пропорциях, я снова отчаянно запылил тряпкой, вспотел, скинул кожушок. И яростно чиркал, и ломал уголек, вгоняя непослушную лошадку в тесную площадь бумажного листа, и так, увлекшись, не услышал, как подошел Александр Алексеич и стал указывать на ошибки, поправлять.

– Ничего, ничего, – говорил баском, словно журчал. – Вот только ноги, вглядитесь… и голова… Впрочем, – он как-то

странно, глухо засмеялся, забулькал горлом, – впрочем, с лошадиной головой, знаете ли, и опытные даже рисовальщики попадали впросак. Почему-то уменьшали. Вот и вы, сколько небось перевидали их в деревне-то, вспомните: крестьянская лошадка головаста, это вам не арабский скакун… А! Ну вот, видите, сразу все стало на место… отлично!

Мне так спокойно, так хорошо сделалось от его ласкового журчания. А главное: уж если опытные…

И я продолжал возиться с лошадкой, а все рисовали обнаженного натурщика. В этот вечер позировал Костя Михнюк, двадцатилетний, розовый, голубоглазый Аполлон, в зеленой с желтым кантом фуражке реального училища. Впоследствии он войдет в историю воронежской печати двадцатых годов как первый фоторепортер, как автор знаменитого портрета И. В. Мичурина – в шляпе, с папиросой в мундштучке, чуть прищурившийся от солнца, – портрета, обошедшего все журналы, газеты и школьные учебники. В девятнадцатом же Костя играл на скрипке, писал чувствительные, под Вертинского, стихи и всерьез собирался сделаться художником.

– Ну вот, – сказал Бучкури за моей спиной, – вот теперь славно. Еще бы ноги чуть потолще…

Но только я принялся поправлять рисунок, как вошел давешний старик с двумя буржуйскими бородами и сказал:

– Нуте, пожалуйте, Александр Алексеич, прошу-с!

И все поспешно поднялись и пошли за стариком. Костя живо соскочил с помоста, стал натягивать брюки. Я сидел, прилежно ширкал углем. Он позвал:

– Пойдемте, чего ж вы…

По темной, холодной каменной лестнице мы спустились в подземелье. Тут пахло рогожами и селедкой. Тусклая лампочка чуть мерцала над низкой сводчатой дверью; прыткое воображение рисовало пыточный застенок, палача с раскаленными добела клещами, инквизиторов в черных балахонах… Однако ничего этого не было: бородач выдавал по списку паек – две ржавые селедки и полкирпича липкого, с колючками, хлеба.

Я думал, что мне не полагается, потому что – новенький, наверно, еще не в списке. Но мне выдали и хлеб и селедку, причем завхоз строго поверх очков поглядел на меня и сказал:

– Имей в виду, кавалер: на три дня…

Так началось мое ученье в Художественных мастерских. Воспоминания об этом времени пестры и беспорядочны. Сперва я хотел выстроить их в маленькую повесть, – ведь такой сверкающий кусок жизни! – но ничего не получилось, не вышло

никакого складу, а только лишь ряд образов, отдельные картинки, обрывки целого, или, как любят нынче говорить не по-русски, – фрагменты.

Сперва нас собиралось немного, человек пятнадцать, не больше. По возрасту, по своему месту в жизни мы были самые разные, – от немолодого уже, с проседью в пышных усах художника-любителя Баранова до нас с будущим воронежским архитектором Неведровым, тринадцатилетних мальчишек.

Помню Лосикова, вчерашнего офицера, краскома, отчисленного из армии по ранению. Он ходил в длинной кавалерийской шинели; нас, зеленых юнцов, называл сосунками, поглядывал с усмешкой.

Был меланхоличный, тихий, пожилой Черских (впоследствии он стал профессиональным художником), кажется, из чиновников. Впрочем, что такое понятие *пожилой* в глазах подростка? Я расскажу, как у меня получилось с Арсением Ридалем. Он – режиссер, музыкант, поэт, читал у нас историю театра. В облезлой шапочке, в куцем пальтишке, сшитом из шинели, в каких-то нелепых голубых обмотках и грубых солдатских («австрийских») башмаках, он казался мне если не стариком, то, во всяком случае, человеком достаточно пожилым. В начале двадцатых Ридаль уехал из Воронежа, но так на всю мою жизнь и запечатлелся в памяти: старик. И лишь недавно я узнал, что в ту пору ему было всего лишь двадцать шесть! Вот так зачисляем мы в старики, когда нам самим – тринадцать.

Стаховский был красивый, розовощекий, в буденовке и бушлате, командированный воинской частью в рисовальную школу. Богданов – железнодорожник из Отрожки, с копной непокорных волос, с мечтательным тонким лицом, влюбленный в классику настолько, что все женщины на его портретах получались похожими на Мону Лизу, а мужчины – на дюреровский автопортрет с цветком.

Затем еще Дубочкин был. Худенький, тщедушный, о незначительным кротким личиком, в одежде оперного разбойника: широченная черная шляпа, черный плащ до пят… Ах, если б еще пару пистолетов за пояс! А голосок тихий, робкий, и сам застенчив, как девица. Но что он представлял собою как художник – не помню совершенно.

На исходе зимы вдруг появился Яковлев – откуда-то из дальнего уезда, из захолустья. Неряшливый, грязный, почти неграмотный; некрасивое, изъеденное оспой лицо странно вытянутое, прислушивающееся: он был глух. Раскрыл свою папку – Бучкури так и ахнул: «Цорн! Смотрите, подлинный Цорн!» Александр Алексеич, как и его гениальный учитель,

преувеличивал свои восторги, но, конечно, Яковлев и в самом деле был талантлив, родился художником.

Однако все мы являлись лишь фоном, декорацией, толпой статистов на сцене. В центре же блистали трое: Вадим Рындин, Илюша Кулешов и очаровательная, с переливчатым голосом иволги Наталья Ивановна.

Это он, Рындин, ставил холст кверху ногами, уверял, что так проверяет натуру; это Кулешов разрисовывал свое нежное, женственное лицо зелеными и синими чертиками; это Наталья Ивановна с мужской смелостью не кистью – мастихином шлепала на полотно лепешки красок и позировала избранным обнаженной…

Они держались свободно, уверенно. Громко говорили, громко, во всю глотку, смеялись. Как бы вызывали всех на спор, на драку своими манерами, выходками, суждениями и даже одеждой. Козырьки кепок – четырехугольные, длиннейшие штаны с невероятным клешем, не хуже нынешних, улично-франтовских; оголенная грудь Илюши Кулешова; блузы холщовые – колоколом, распояской; чудовищные банты и раскрашенные щеки, глаза, подведенные синё, театрально… Но все это, конечно, была игра, мальчишество, «театр для себя» (существовало такое красное словцо), дерзкое, внешнее противопоставление себя – необыкновенных, художников – прочим, обыкновенным. Это соблазняло, притягивало, побуждало подражать, и вот кто-то из подростков уже пытался к жалкой своей кепчонке пришить такой же чудовищный козырек и намалевать на серых от недоедания щеках лилового чертика… Да, наверно, и мне тогда хотелось не отстать, и я, наверно, если б не моя деревенская робость, тоже разрисовался бы. Но я лишь тайно восхищался, не решаясь подражать, и только на то отважился, что скромный свой домашней маминой вязки розовый гарусный шарфик не под кожушком стал носить, а сверху, залихватски закидывая один конец на спину. Но как хотелось быть, как *они,* и в художестве! Хотелось наперекор себе, собственным понятиям изобразить что-то этакое… ну, человеческое лицо, что ли, фиолетового или, скажем, зеленого цвета, да еще и перекосив его плоскими углами, как это ловко ухитрялись делать они. Однако и тут мешала, а лучше сказать, спасала застенчивость, страх показаться смешным; и я продолжал корпеть в одиночестве над гипсами, морозно-белыми Дианами, Зевесами, Аполлонами… Жил в обществе гипсовых богов и как-то уже привык к ним, не желая ничего более, словно бы хоронясь за ними, отсиживаясь за их могучими каменными телами, отгородись ими от шумной и бестолковой жизни мастерских.

Но однажды Александр Алексеич сказал:

– Это, конечно, хорошо – гипсы, полезно, но почему бы не подумать о собственной композиции? Скажем, что-то из деревенской жизни… Подумайте-ка.

Я так и вспыхнул: собственное! Но куда же мне… И открыл рот, чтобы возразить, но он уже подошел к кому-то, о чем-то говорил, и неловко было вмешиваться в разговор, прерывать его.

И вот *я попробовал.*

Картинка называлась «Вечер в деревне».

Она должна была изобразить нашу деревенскую горницу, бабушку с ее россказнями, всех нас, ее слушателей, вечерние синие окна, полумрак, цветные лампадки перед образами, – словом, то, что видел много раз, что ярко отпечаталось в воображении.

Но ничего этого не получилось.

Почему-то свое, виденное въяве, вдруг растаяло, затуманилось. Непрошеные, обступили образы иные, иные краски – не мои, не те, что некогда сам увидел, а чужие, в свое время поразившие меня в плохих воспроизведениях картин известных художников. Откуда-то взялись вдруг бабы малявинские, архиповские, Александр Алексеичевы даже (его вещи с выставок «Союза русских художников» довольно часто печатались в журналах). Алые кофты, алые юбки, алая божница с иконами… Дорвавшись до красок, я особенно возлюбил киноварь, кармин и все оттенки красного. И вот так, перемазав картину чужим, остался доволен: рукоделье пылало, что твоя печь. Я с гордостью, но и не без страха показал картинку Бучкуря. Тот повертел ее в своих толстых мужицких пальцах, как-то неопределенно поклокотал горлом и сказал:

– Оно бы и ничего, да только все это я, понимаете ли, уже где-то видел…

Слава богу, у меня хватило ума догадаться, что и с «собственной композицией» получилось то, что не так давно произошло с поэмой о гибели киевского князя. Однако эта последняя неудача не так потрясла меня, как та, прошлогодняя. Я легко смирился и снова засел с растушевкой за равнодушные лики античных богов.

И тут наступило лето двадцатого года, когда город Воронеж (при моем участии) оказался размалеванным с головы до ног. С ведерками клеевых красок, с огромными малярными кистями, мы – теперь уже довольно многочисленный отряд школяров-живописцев – кинулись на стены городских домов и каменных оград…

Это было время незабываемое. Юную нашу республику со

всех сторон обступали враги. И хотя многие (из тех, что полгода назад страшными пьяными ордами пылили по русским большакам, убивая и грабя) – многие к весне двадцатого, разгромленные, уже были черепами, смутно желтеющими в подымающихся зеленях полей серединной России, а другие в паническом бегстве скатывались за рубеж, – все равно, их еще достаточно насчитывалось: помимо остатков потрепанных белых армий то там, то тут вспыхивали кулацкие заворошки, банды прохиндеев-головорезов грибами-поганками нарождались в русских лесах и болотах несчетно. Но едва ни не самым страшным врагом надвигался голод, ползла тифозная вошь, а при первом весеннем тепле – в душной пыли, в зное, в гудящих мушиных роях – пожаловала и страшная гостья – холера.

А нам дали кисти, и мы ими сражались.

И вот ярчайшими цельными красками заорали стены домов, и стихи – грубоватые и бесхитростные – звали истошными голосами:

– Холерных дома не держи, скорей в больницу положи!

– Не моешь фрукты и плоды – не избежать тебе беды!

– Черному барону снится корона. Пугалом для ворон быть тебе, черный барон!

Кто были авторы этих стихов? В памяти современников долго потом звучали охрипшие от крика строчки, а сочинители их остались неизвестны.

Эти наши наскальные изображения необыкновенно живучими оказались: прошумел нэп, отсчетом мирного времени сделались пятилетки, а на белой стене бывшей Мерчанской гимназии, где разместился музей Революции, – он все летел в яростный бой, гигантский алый всадник, созданный огненной кистью Илюши Кулешова, и к вечной битве звала алая рука, к алым облакам взметнувшая алый клинок…

И лишь страшным пожарам сорок второго удалось оборвать этот гремящий, сверкающий полет.

Но вот кончились наши шумные городские походы с ведерками красок, и снова – зимняя тишина мастерской. И снова – гипсы, уже бесконечно надоевшие. И еще новая попытка создать *свою* композицию, и, как и в первый раз, она была не моей, списанной с чужих образцов. Пришла горькая мысль, что нет, не художником я родился.

Нет, не художником.

И разом все безразлично сделалось, ходил потерянный, скучный. Варечка сказала однажды:

– На тебе лица нет, просто ужас, как ты извелся.

Посоветовала съездить домой, подкормиться.

Я послушался, поехал. Помню, день выдался ненастный, валил мокрый снег. В вагоне было шумно, дымно. Рычала гармошка, ветер свистел в выбитых окнах. Паровоз задыхался в предсмертном крике отчаяния, колеса стучали под заплеванным полом; ужасный их грохот отдавался в голове тупой болью, и все кружилось, кружилось перед глазами…

Мне было холодно, хотелось сжаться в комок, и я сжался, скорчился, сполз со скамейки вниз, под ноги гармониста. Тут внизу как-то затишней показалось, и гармошка не так рвала уши, зато грохот колес приблизился вплотную. Да еще гармонист принялся сплевывать, и плевки его попадали на мои колени. В другое время я, конечно, почувствовал бы отвращение, закричал бы, выругался, но сейчас мне было все равно и даже – не поверите! – уютно, потому что я уже существовал в ином мире, в мире смертельной болезни.

Как я такой добрался до дому – и поныне не соображу.

Умирал в течение двух недель.

Были видения; слепые античные боги в крутых завитках волос на гипсовых головах; огонек коптилки и синее ночное окно; тиролец в шляпке с петушиным пером и розовыми коленками; голая Наталья Ивановна, вся в косяках, как лоскутное одеяло или штаны Арлекина; толстые пальцы Бучкури, стопудовым грузом легшие на грудь…

В дальнейшем тиролец являлся мне при всякой болезни, стоило термометру заползти за тридцать девять.

Но я не умер. Поправлялся медленно, с великим трудом всю зиму, пока не зашлепала за окном весенняя капель и не засвистели любимые мои веселые Иванки.

В Воронеже я появился в мае.

Ярким солнечным утром тихонько приоткрыл дверь мастерской и не узнал привычного класса. Какое многолюдство! Больше половины сидящих за мольбертами было незнакомо. На подмостках, покрытых рукодельным «монастырским» ковром с алыми розанами, лежала молочно-белая толстуха, на которой ничего не было, – одни золотые туфельки.

Оторопело стоял в дверях, не знал, что делать: я никогда не видел обнаженной женщины, у меня в висках застучало. Бучкури ходил между мольбертами, поправлял.

– А-а! – заметил меня, заметил мое смущение. – Входите, что же вы…

Но я продолжал стоять столбом, с ослабевшими враз ногами. Тогда он сам подошел ко мне.

– Вы что – болели? – спросил участливо. – Ах, да… Какое глупое недоразумение! Вы знаете, – он усмехнулся неловко, – был слух, что… Словом, вас вычеркнули из списка учащихся. Но это ничего, это легко поправить… Входите же, усаживайтесь, у нас нынче прекрасная натура…

Он, как отец родной, хлопотал возле меня.

– Нет, нет! – поспешно пробормотал я, совсем уж смутясь до того, что и слова выговаривал невнятно, немо. – Нет, не сейчас, я потом приду… до свидания!

И ушел, оглохший, с одеревеневшей головой. «Вычеркнут… Ну, значит, так тому и быть… И очень хорошо, и отлично!»

Все решилось необыкновенно просто и легко.

Так мне казалось тогда. И даже сыпняк вообразился как некая опасная, но необходимая черта, перешагнув которую я навсегда расставался с фантастической, выдуманной жизнью, то есть с мечтаньями о будущности художника, и вступал в новый мир – разумный и действительно существующий.

«Разумный»… Ах, мальчишка!

И опять-таки не кто-нибудь, а Варечка вводила меня в этот новый мир, как некогда в роскошный кабинет «академика». В своем наробразе она услышала, что осенью открывается Кооперативное училище, которое предполагает готовить бухгалтеров, экономистов и товароведов. Училище выглядело солидно, преподаватели отличные, иные даже из нового, переведенного к нам Дерптского университета.

Родители, разумеется, пришли в восторг: «Пора, пора Володьке за дело приняться!» В августе я кое-как сдал экзамены, и понесло меня по безбрежному морю общих в специальных наук.

На художничестве был поставлен крест.

Как о гимназической поре, так и о кооперативно-училищной сказать нечего, кроме одного: скука. Но там хоть гимназист Фришман существовал с его картинками, соблазнившими меня, а тут…

Ничего в памяти не зарубилось, пожалуй, кроме смешного учителя по литературе.

Главное же заключалось в том, что жизнь моя в те дни устроилась на колесах: в городе голодно, не прохарчиться, а дома – хоть картошка, хоть хлеб лебедовый. Приходилось ежедневно ездить в училище.

И вот – потемки ранних утр и вечеров. Дорога от села, с версту, до углянской площадки, где поезд останавливается на минуту; полтора часа в холодном, темном вагоне; рассвет над Терновой Поляной, над которой по высокой насыпи несется

поезд; разбойничий рев паровоза у семафора и – город. Часовня на вокзальной площади, десятка два извозчиков, орущие галки, снежок; листы газет, расклеенные на афишных тумбах, на заборах, на стенах домов…

Об этих стенах надо сказать особо.

На них – жизнеописание города последних лет. Она исковыряны пулями (бои с анархистами в восемнадцатом, с мамонтовцами – в девятнадцатом); они черны от дыма печек-буржуек, железные трубы которых высовываются из форточек, как страшные руки узников, взывающих о помощи… Они – в ярчайших подтеках красок наскальной живописи (следы прошлогоднего нашего противохолерного живописного буйства). На них – листки приказов комендантских, военкоматских: тогда-то являться, после стольких-то не ходить по улицам. На них – лохмотья афиш печатных и рукописных, среди которых каким-то непонятным образом в двадцать первом еще уцелели, выцветшие и оборванные, прилепленные и год, и два тому назад: поэзоконцерт Игоря Северянина, песенки Виктора Хенкина, лекция «Христос и Антихрист». Стены митинговали, призывали, приказывали, упрашивали добром, а то и грозили.

Стены были – сама История.

И вот среди прочих листков стали появляться небольшие, скромные афишки театральной студии, где владычествовал режиссер Арсений Ридаль.

Отсюда начинается едва ли не самая волшебная зима из всех зим моей жизни: я увидел Театр и замер, застыл в столбняке радостного удивления.

За увлечение театром расплачиваться приходилось довольно дорогой ценою. Правда, билеты на спектакль были невероятно дешевы – сколько-то миллионов, примерно столько, сколько на черном рынке стоила коробка ядовито сипящих, не всегда загорающихся спичек. Но тут дело было не в стоимости билета, а в том, что добираться домой после спектакля приходилось последним ночным поездом и спать ложился я уже далеко за полночь. А в шесть утра мама с превеликим трудом расталкивала меня – и снова в сумерках зимнего утра в путь, снова холодный вагон, гремящие, скрежещущие на морозе колеса…

И, конечно, невыученные уроки, и неизбежные двойки, или, как тогда говорили, *неуды.*

Ах, эти ночные дороги!

Один раз проспал свою площадку, проснулся на Графской. Пришлось ночевать на заплеванном, провонявшем дезинфекцией и махорочным дымом вокзале; голодным, еле держась на ногах, ехать с утренним поездом в город, в училище, слушать скучные

уроки, с тоской ждать, когда же это все кончится, чтобы наконец добраться до дома, зверем навалиться на еду, на лебедовые лепешки… Сейчас удивляешься, сколько же пятнадцатилетнему человеку отпущено силы, какая неутомимая живучесть теплится в изголодавшемся теле… В тот день, однако, на уроке физики я упал у доски.

Н. А. Сахаров, университетский профессор, преподававший у нас физику, побрызгал на меня из графина и сказал:

– Что это ты, друг мой, на ногах не держишься?

Из канцелярии прибежала секретарша Марья Львовна, дала мне понюхать пузыречек. Защипало в глазах, шибануло в затылок, голова сделалась легкая. Я оживел.

Но прошел день-другой – и снова полумрак зрительного зала, и зеленый занавес, подсвеченный снизу яркими лампочками рампы, дивно, призрачно колеблется…

Над загородкой оркестровой ямы – черная, блестящая, лакированная голова Ридаля с лиловой бархоткой, обручем опоясывающей высокий белый лоб. Поворот к залу – три четверти – профиль, – взгляд нерусского черта – Кобольда, Мефистофеля. Взмах дирижерской палочки – и сухонькая, дробная старушка Наталия Вафиади гремит увертюру по желтым клавишам разбитого пианино. Набеленный, с синими пятнами под глазами, с горящей лампочкой на островерхом колпаке, Звездочет выглядывает из складок занавеса… И начинается Театр.

Начинается волшебство.

В этом крохотном театре, где бедновато, где ни золота, ни бархата, где декорации скромны, лаконичны, а в иных спектаклях их и вовсе нет, где старенькое пианино вместо оркестра, а актеры безвестны и молоды, чуть, может быть, старше меня, – в театре этом жило что-то такое, от чего голод забывался, из-за чего и холодные вагонные ночи без сна, и зимняя трудная дорога оказывались не в тягость.

Что же такое было в этом театре?

Тогда я не задумывался над этим, такие вопросы мне в голову не приходили. Поток восторга мчал бог весть куда, бог весть зачем. Швырял из яркого, полного музыки и художества зрительного зала в ночь, в бесприютный грохот пустого вагона, в трудный и даже порою страшноватый путь по снежному безлюдному полю – от железнодорожной площадки до села.

Я уже рассказал, как однажды проспал остановку; в другой раз в метель сбился с дороги, взял не влево, где лес и большой, на двенадцати десятинах, Кряжовский сад, а вправо, где поле, где блукать можно до смерти. К счастью, вышел на мельницу: во

мгле, за шевелящейся завесой вьюги, она со своими крыльями, похожими на воздетый черный крест, как некогда рыцарю Ламанчскому, представилась мне великаном, чудом, но по ней я понял, куда держать, и вышел на огороды. А возьми чуть правее – ушел бы в степь, в бесконечные поля, откуда едва ли и выбрался бы.

И еще две ночи запомнились.

В первую была тишина, оттепель, молочный туман. Трое-четверо приехавших с ночным поездом шибко ушли вперед, а я брел не спеша: все равно, не успеешь уснуть, как уже и подыматься надо. А главное, в воображении все еще весело, озорно жил обаятельный гуляка Флоридор-Ридаль, учитель музыки; ярко, празднично алели, сверкали золотыми шнурами гусарские муштры и звенела развеселая, прыгающая мелодия из только что увиденной «Лисы Патрикеевны»… И вдруг во мгле, в тумане, послышался отчаянный гусиный крик, страшный, предсмертный. Крик летел низко, как если бы гусь бежал по снегу; и удивителен и даже жуток был не сам крик, а та быстрота, с какой он мчался по чистому полю. Возникнув где-то у крайних углянских дворов, он удалялся в сторону леса, затихая, замирая, и наконец вовсе затих, наверно, уже в лесу… Оторопь меня взяла, – так неожидан, так страшен показался мне этот гусиный ночной гогот.

А другой ночью, тоже тихой, беззвучной, валил мокрый снег, и так густо, что и в десятке шагов ничего было не видать. И за мутной белой стеной падающего снега кто-то невидимый в стороне от дороги точил брусочком косу: ж-жах! ж-жах! Тут уже до того страшно сделалось, что припустил я бегом, да так и пробежал до самого села, и лишь у самых изб остановился, чтобы перевести дыхание. Прислушался. Сквозь гулкий стук в висках услышал вдалеке: ж-жах! ж-жах!

История с гусаком объяснилась скоро и просто: его лиса волокла – дело в лесных селах не диковинное. А вот что с косой – так и осталось загадкой.

От тех давно сиявших «на заре туманной юности» дней осталось ощущение веселого бега, игры, и будто весенний ветерок посвистывает в ушах.

В конце мая тысяча девятьсот двадцать второго года высокая луна освещала не шибко идущий среди деревьев ночной поезд и пятнадцатилетнего человека, который бежал по насыпи рядом с вагоном и пел изо всей силы своего еще не совсем взрослого голоса.

Со стороны, наверно, чудно казалось, зачем мальчик,

спрыгнув с подножки, бежит, держась за вагонный поручень, среди торжественной тишины безлюдной ночи. Зачем, кому поет? Ведь рядом с ним гремел железом пустой вагон, а вокруг были редкие деревья с просвечивающими сквозь стволы серебряными от луны кусочками поля; и только лишь в полуверсте виднелись крайние домишки станции Тресвятской, зеленел глазок семафора и жили какие-то, верней всего, в эту минуту спящие люди. А он бежал и пел, но не словами, а так, просто голосом, без слов, как дикий, из древнего времени, или просто тронутый в уме человек.

Он не думал о том, что может споткнуться и упасть под колеса или что у него ослабнут ноги и он, обессилев, не в состоянии будет снова вскочить на ступеньку вагонной подножки, и ему придется отстать от поезда и прошагать верст десять пешком до села, где он родился и прожил всю свою пятнадцатилетнюю жизнь.

Бежал человек оттого, что ощущал радость и был уверен, что никогда не умрет и ничего плохого с ним никогда не случится, а будет вечно вот так жить и бежать, не замечая ни веса собственного тела, ни сердца и легких, у которых существует же какой-то предел напряжения. Нет, ни на мгновенье не задумывался над подобными пустяками – бежал и бежал.

И лишь когда поезд, подойдя к стрелке, стал замедлять ход, ловко вспрыгнул на подножку и вошел в вагон, где на крюке, возле опущенной оконной рамы, слегка покачиваясь от сотрясения, висела камышовая кошелка, его драгоценное имущество. Он посмотрел на кошелку, послушал, как тихонько, глухо позванивают в ней две пустые стеклянные четвертные бутыли из-под молока, потрогал рукой камышовое плетение, пощупал: сокровища были на месте.

Это я бежал.

И все это со мной происходило: луна, вагон и пение, похожее на вопль дикого человека.

Также и плетеная кошелка принадлежала мне. В ней кроме пустых, с белыми молочными потеками, звенящих бутылей лежали книги: «Стихи о Прекрасной Даме» и морозовские «Пророки». Эти книги я купил еще днем у Наумова.

Напротив театра, рядом с бывшей Мещанской пожарной частью, существовал в Воронеже в те годы крохотный писчебумажный магазинишко, каким-то чудом уцелевший с дореволюционных времен (я уже рассказывал о нем). Там продавались подержанные книги, в которых позволялось рыться сколько угодно, разглядывать картинки, читать… Ну, не блаженство ль? Вот тут-то, в книжном углу, я и разыскал

Морозова и Блока, совсем новенькие, даже еще и не разрезанные книги. Робея, спросил у хозяина лавки Наумова, сухонького, тощего, строгого на вид человека в темно-зеленых очках, сколько стоят обе. Он назвал цифру в миллионах или миллиардах, сейчас уж не помню, какую-то семи– или восьмизначную. Я опечалился. Миллион-другой, правда, и у меня водился, давали из дому на карандаши, на перья, на тетрадку, но такие деньжищи…

И вдруг осенило! Я насмелился и спросил:

– А если на продукты?

– С удовольствием, – сказал зеленоглазый. – Меру картошки или две четверти молока.

Корова у нас была хорошая, я легко выпросил у мамы две четверти молока, и вот книги были мои. В плетеной кошелке, как бы силою колдовских чар тайно сокрытые, пребывали рыцари, трубадуры, печальные бледные красавицы (моя первая встреча с Блоком), страшные бородатые средневековые астрологи Николая Морозова, наблюдающие движения звезд.

Они-то, эти литературные призраки, и были причиной моего восторга, причиной моего бессмысленного бега и дикарского пения. Но, правду сказать, и еще многое веселило: лето, освободившее от скучнейшего кооперативного училища, лунное небо, жизнь в Углянце, где у меня была солнечная комнатушка с зеленым ломберным столиком, на котором размещались мои любимые вещи, – чернильница с бронзовой лисичкой на серой мраморной подставке, хризолитовая вставочка для пера, желтоватый кошачий череп, толстые тетради, куда я красивейшим почерком (но так и не достигшим дедушкина совершенства) переписывал бунинские и тютчевские стихи… И, конечно, самое заветное – большая конторская книга с великолепной бумагой, разграфленной бледно-голубыми и розовыми линиями, в которую аккуратно заносил сочиненное самим.

За всю пору увлечения ридалевским театром я не помышлял о стихах: слишком еще памятна была история со старым колодцем. Но вот весной двадцать второго снова накатило, и снова я строчил неистово, только тайно, уже никому не показывая.

Кроме всего, в Углянце еще был сад и крытый соломой просторный курень (о нем говорилось), в пахучих потемках которого тоже кой-какое хранилось богатство: книги, карандаши, разномастные листочки чистой бумаги, вырванные из старых, не до конца исписанных школьных тетрадей. И так хорошо, счастливо складывалась жизнь, что прямо-таки сердце замирало в восторге.

И лишь одно облачко туманило мое небо: с десяток переэкзаменовок, почти по всем предметам. Это прискорбное обстоятельство я твердо решил скрыть от отца: лето, думалось, велико, потихоньку подготовлюсь к осени. Не эти скучные, ничтожные науки, всякие там счетоводства да товароведения, сейчас важны. Сейчас другое меня занимало и казалось наиважнейшим: начатое на разномастных листочках.

Сперва я назвал это «Осень». Вывел старательно заголовок, а под ним написал: поэма. Затем все зачеркнул и обозначил так: «Осенняя поэма». И обрадовался ужасно, до того показалось здорово. Но дальше…

Все лето я ночевал в саду, караулил. Когда не спалось, подолгу, задрав голову, глядел вверх, разглядывал звезды, сверял углянские небеса с черной астрономической картой, приложенной к морозовским «Пророкам». Это было увлекательное занятие, сон как рукой снимало. Но вот в одну из таких ночей, досыта наглядевшись на небесную неразбериху, лежал я в уютном своем, пахнущем сеном и яблоками логове и пытался вообразить бесконечность. Как-то не устраивала она меня, очень уж была невообразима. Почему, размышлял я, ей обязательно быть пустотой? Вот если б Вселенная представляла собою пористый гранитный монолит, где каждая по́ра – новая вселенная… Тогда у этих отделенных друг от друга вселенных и берега были бы – скалистые черные стены, за которые уже невозможно проникнуть.

Еще не было ни быстролетных самолетов, ни ракет, и тишина в мире стояла такая, что мышь в соломе заворочается, где-то вдалеке яблоко упадет – и слышно, словно рядом. Первые петухи закричали. На речке Усманке водяные быки гукали, и гулкие, глухие, таинственные звуки эти были в тишине так странно близки, будто река, до которой не меньше версты, – за самым нашим огородом.

И вдруг шаги послышались. Кто-то шел по тропинке между яблонями, уверенно, твердо шагал.

– Кто это? – негромко окликнул я.

– Ишь ты, – сказал отец, – не спишь… Вот, брат, и мне что-то не спится.

Присел у входа на корточки, закурил. Огонек зажигалки выхватил из тьмы строгое худощавое лицо, черную с проседью бороду.

Молчал, покашливал. Покурив, поплевал на цигарку и спросил:

– В лес-то завтра пойдешь?

– А как же, – сказал я, – обязательно пойду.

Мы с ним уже три дня рубили в лесу слеги и хворост, затевали городить плетень вокруг сада.

– Ну, тогда спи, пораньше выйдем. И с чего это у тебя бессонница, не пойму.

– Так ведь и ты не спишь…

– Ну, я… – он вздохнул. – У меня неприятности.

И рассказал, что получил открытку из канцелярии училища, в которой его уведомляли о моих переэкзаменовках.

Жизнь моя светлая вдруг потемнела.

До этого ведь как все хорошо получалось: каждый день прибавлял два-три листочка, писалось легко, без помарок. Ровненько, изящно летели буковки, складывались в слова, в строчки; получались стихи, в которых всякие красоты были: и «ели под снежными ризами» (у нас ели сроду не водились), и «зеркальный кипень маскарадных зал», куда, черт их знает какими путями, в деревенскую мою жизнь вламывались печальные Пьеро и легкомысленные Арлекины, буруны волн северного моря и боевые ладьи норвежских викингов, и уж совсем нелепые потухшие камины, шуршащие жесткими крыльями нетопыри и колеблющееся пламя догорающих свечей…

Все было понахватано без разбора, все – чужое; ничего из этих «красот» я не видел, не чувствовал, но какое наслаждение было следить за льющейся из-под пера ровной строчкой, выстраивать строчечные столбики на чистых страницах конторской книги! Лепились, лепились друг к дружке пустые слова, росли столбцы, и я радовался тому, что создал их.

«Осенняя поэма» складывалась так же легко, как и прежнее, резво бежало перо, любимое мое «рондо»; чернила (сам сделал из порошка) густо-синие блестели, высыхая: я в них чуточку сахару подсыпал. А что касается «Осени», так я не очень-то ломал голову над тем, что же у меня получается: слова летели, звенели – чего же еще? Она изображалась в виде владычицы леса: сейчас как-то туманно все это представляется, – пятьдесят лет прошло, не шутка! – но что-то, кажется, в ее образе было старорусское, только не смиренное, не истовое, а диковатое что-то, вроде Царь-Девицы, богатырши, славянской амазонки. Ни одной строки не помню, а ощущение живо. Да, именно Царь-Девица. Всякие там терема, кокошники, телогреи. Эта рыжая раскрасавица явно перекочевала в мои листочки из бунинского «Листопада», и я, конечно, понимал, откуда она взялась. Но размер стиха был другой, да и сам образ моей амазонки, буйный и диковатый, резко отличался от бесплотной и скорбной Осени у Бунина.

Так бы, разумеется, как все прочее, и замуровалась навечно

моя поэма в великолепном гроссбухе, если б вдруг во мне не загорелось… Как пожар, загорелось – вынь да положь – увидеть стихи свои напечатанными, имя свое и фамилию увидеть набранными типографскими литерами.

И сделалось беспокойно. Какую-то перемену в себе я почуял, но никак не мог понять – что же это такое со мной. А это гаденыш тщеславия зародился и стал во мне жить.

И вот я старательно переписал поэму на большие, чистые листы и понес ее в редакцию «Воронежской коммуны».

Она помещалась на проспекте Революции, во дворе, где нынче один из цехов типографии «Коммуна». Робея, остановился я в темноватом туннеле ворот: идти ли? Не то чтобы страшно сделалось, нет, тут от какого-то другого чувства, и жуткого и радостного вместе, одеревенели ноги, захолодало в груди. Секунду, две, а может, и целую минуту простоял я в блаженном столбняке, пока под гулкими сводами не громыхнул матерок:

– Эй, ты… так твою!

В ворота въезжали ломовые дроги, нагруженные какими-то ящиками. Я отскочил, прижался к стене. Высекая из булыжника искры, тяжело, звонко протопал ребрастый седой битюг с длинной гривой, старательно заплетенной в толстые косы. Я вспомнил картинку из какой-то книги – «Клятва древних германцев»: здоровенные бородатые мужики в рогатых шлемах; голыми, дюжими руками они подымали рог, а из-под шлемов на груди свисали светлые бабьи косы. Битюг был удивительно похож на древнего германца. Мне сделалось смешно, весело, я пропустил ломовика, решительно пересек плохо замощенный двор и переступил порог редакции.

Черный указующий перст на белой картонке велел подыматься наверх. На первом этаже размещалась типография, и лестница вся пропиталась ее запахами: машинного масла, краски, керосина, лака, – теми приятными особенными запахами, какие свойственны любой типографии – от старенькой, кустарной до нынешней, современной, с ротационными машинами и линотипами.

Комнатки редакции были малы, тесны, темноваты. После яркого света улицы они мне еще темней показались. Множество людей сидело за столами в первой, самой просторной комнате. Они писали, шумно разговаривали, смеялись, кричали в деревянный настенный телефон. Тут все тот же типографский запах стоял, но к нему еще примешивались и другие: фиолетовых чернил, клея и кожи, что ли (несколько человек одеты были в кожанки), сейчас хорошенько не припомню.

Я подошел к тому, что сидел почти возле двери. Он был в

затерханной, с обгоревшей полой солдатской шинели и в грязных обмотках на тощих ногах. Красное, кирпичного цвета лицо беспокойно подергивалось, кривилось; и носом он шмыгал то и дело, словно от насморка. Мельком, рассеянно взглянув на меня, спросил, продолжая писать:

– Ты ко мне?

– Вот стихи, – как-то сразу оробел я, охрип. – Стихи… К кому бы…

– Миша! – гундосо, насморочно крикнул он. – Бахметьев! Пацан стихи принес…

Я обиделся: пацан!

Подошел какой-то чудной, с нездоровым, сильно перекошенным набок лицом.

– Ты что, Френч? – спросил.

«Ах, так это Старый Френч!» Пришлось смириться, простить пренебрежительного «пацана». Имя Френча мне было хорошо знакомо, оно чуть ли не в каждом номере газеты мелькало; фельетоны Старого Френча славились, смотреть газету начинали с них. Позднее я узнал его ближе, это был странный, своеобразный человек. Он презирал чтение книг и, кажется, ставил это себе в заслугу, Его, например, опрашивали:

– Френч, ты Чехова читал?

– Нет, не читал, – шмыгал носом.

– Да как же тебе не стыдно!

– А чего стыдно? – сопел невозмутимо. – Вот вы все книжки прочли, сдираете с них…А я сам по себе, я сам из своей головы пишу.

Человека с перекошенной щекой, которого он назвал Бахметьевым, я тоже знал по газете и еще по маленькой книжечке в зеленой обертке, которая называлась «Повесть об одной дурацкой любви». Это был брат тогда уже известного писателя Владимира Бахметьева, Михаил. Он взял у меня довольно помятые листы поэмы (я тискал их в потных руках) и принялся просматривать. Возле него появились еще двое: один щуплый, бледный, словно набеленный. Я его заметил, как вошел, с порога: одетый чисто, франтовски даже, вертелся туда-сюда, во все стороны, и все поправлял галстук. Галстуки в те годы редко кто носил, и это, конечно, сразу выделяло человека. Но еще удивительней было другое: черный рожок, трубка, которую он постоянно держал возле уха, слушал в нее. Второй – коренастый, светловолосый, с добрыми, улыбающимися глазами, и лицом и одеждой похожий на мастерового.

– Вот, Дерптский, это по твоей части, – сказал Бахметьев. – Стихи.

Дерптский! Этот глухой, с черной слуховой трубкой – поэт Борис Дерптский! Боже мой, вокруг меня – сплошные знаменитости!

– Как ваша фамилия? Как? Как?

Черная трубка уткнулась в меня. Мне стало смешно, я в первый раз видел человека, слушающего в рожок.

– Кораблинов, – сказал я.

– Корабль блинов! – засмеялся маленький, весь подсушенный, быстрый в движениях. Он сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не глядя в нашу сторону, выпалил скороговоркой:

Корабль и блин,
Но блин не нов.
О, сукин сын,
Кораблинов!

И всем стало весело, все засмеялись. Листы мои были в руках у Дерптского. Светловолосый, похожий на мастерового, заглянул в них.

– И-ма-жи-низьм, – отчеканил по слогам, не то в похвалу, не то в осуждение. Но с мягким знаком.

Я сконфузился совершенно, пробормотал:

– До свиданья…

Слуховой рожок ткнулся в меня, в мастерового, в Бахметьева, в соломенную шляпу.

Я бежал позорно.

– Послушайте! – крикнул Дерптский. – Зайдите завтра!

Но я уже был на лестнице. Черный перст на белой картонке уже не указывал, а строго грозил: «Эх ты, блин не нов… писатель, елки-палки!»

Во дворе я встретил Костю Михнюка, художника. Мы с ним учились в мастерских, я о нем уже говорил. Теперь он работал в редакции, резал на линолеуме клише; цинкографии тогда еще не было.

– Ты что, Володюшка? – удивился Костя.

Я рассказал и спросил – кто это в соломенной шляпе, похожий на высушенный гриб.

– Гриша Томилин, подписывается Гр. Том. Славный, веселый малый, из старых газетчиков.

Во-он что! Веселый.

– А в куртке замасленной?

– Андрей Платонов. Слыхал?

Ну, еще бы! Странные стихи, от них машинным маслом пахло, как на типографской лестнице.

Мне они не нравились.

Ни завтра, ни через месяц в редакцию я не пошел. Про поэму свою и думать позабыл.

Но вот как-то был у нас в училище вечер. Пел хор, плясали, декламировали «Каменщик, каменщик в фартуке белом»; физкультурники откалывали отчаянные номера; помнится, даже фокусы кто-то показывал.

И вдруг вылетела на эстраду одна из наших девиц, искусная чтица стихов, и по тоненькой книжечке стала читать мою «Осеннюю поэму». Я едва со стула не свалился, ей-богу, что-то вроде родимчика приключилось. Напечатали!

Не дослушав до конца, сбежал, и долго носило меня по ночным улицам тихого Воронежа. Обалделый, охмелевший от радости, от нового какого-то чувства, бóльшего, чем просто гордость, я уже видел ослепительный путь к славе и захлебывался и слеп от этих видений…

Альманах «Зори», где появились мои стихи, был скромной, тоненькой книжечкой в бумажной обложке, рисунок для которой сделал и вырезал Костя. Он почему-то изобразил пару летящих уток, что, пожалуй, больше подошло бы для охотничьего журнала или сборника статей о природе.

Но тогда у нас, в Воронеже, на такие мелочи, как оформление книги, смотрели много проще, и хорошо еще, что на обложке были утки в камышах, а то метранпаж Степаныч из старого запаса типографских виньеток мог бы тиснуть совсем что-нибудь неподходящее – цветочную гирлянду с печальной урной, голеньких купидончиков или ласточку с письмецом в клюве. В обложке все-таки была поэзия, она звучала, как старинная воронежская «Летят утки»… Мне обложка казалась очень красивой.

Через «Осеннюю поэму» я сблизился с редакцией газеты, но произошло это не сразу. Сперва я, сам не знаю почему, даже побаивался туда идти, – ведь там все такие пожилые, знаменитые, куда мне до них, я с ними и разговаривать-то не сумею. Но как-то раз встретил на улице Костю, и он сказал мне:

– Куда ж ты запропастился? Тебе за стихи причитается.

Я пошел и получил первый свой гонорар, какие-то невероятные деньжищи – огромные розовые и синие листы – миллиарды или миллионы, не помню. Червонец первый советский, полновесный, обеспеченный золотом, еще не вошел в обращение; он пока лишь как образец выставлялся у дверей Госбанка, в рамке, наподобие киота, за стеклом, затянутым металлической сеткой. Под ним обозначалось, сколько на

сегодняшнее число он стоит в миллиардах.

Возле кассы я столкнулся со Старым Френчем, он узнал меня.

– А-а, – дружелюбно пошмурыгал носом. – Что ж не заходишь?

Я осмелел и на следующий же день принес стихи о деревянной кукле, балаганном паяце, – что-то от Блока, а еще больше от Вертинского. Стихи напечатали в воскресном приложении к газете, в сатирическом листке «Репейник». Затем еще и еще – тоже книжные, манерные, подражательные. Печатали и это, но наконец секретарь редакции Георгий Плетнев не выдержал.

– Знаете, – сказал проникновенно, – это все весьма изящно, но ведь безделушки же, пустяк… Вы бы что-нибудь попробовали на злобу дня, так сказать. Антирелигиозное что-нибудь, вот пасха скоро… или о кооперации. И форму используйте попроще – частушку, раешник…

Я попробовал. И фамилия моя замелькала на газетных полосах.

В двадцатых годах улицу, которую нынче мы знаем как Двадцатилетия ВЛКСМ, еще называли Поднабережной. Мне она известна с детских лет. Я уже рассказывал о том, как обижали меня великовозрастные семинаристы; чтобы не встречаться со своими мучителями, мне приходилось добираться домой окружным путем, через Поднабережную и Манежную. Мог ли я думать тогда, что перекресток этих улиц навсегда останется в памяти не только как путь трусливого бегства от обидчиков-семинаристов, но главным образом как светлый, чудесный символ счастливейшей поры моей юности!

Та сторона проспекта Революции, где расположен главный почтамт, начиная от улицы Помяловского, от нынешнего мемориала в честь великой Победы, как это ни удивительно, выглядит точно так же, как выглядела в те далекие времена, о которых пойдет речь. Вот старинный двухэтажный дом с лепными львиными мордами в простенках между окон (некогда, в никитинскую пору, известная гостиница Шванвича), вот почтамт, построенный в начале века; вот скучные дома губернского правления, где около ста тридцати лет назад в должности губернского советника служил Второв… Наконец, у бывшего карлсоновского цветоводства – спуск вниз, направо, и – вот она, узкая, мощенная неровным булыжником Поднабережная. Выщербленные, кривые тротуары с каменными ступенями в иных местах; опрятные небольшие особнячки, среди которых один-два даже с некоторой претензией на «модерн»; и – разом – после

довольно шумного проспекта с его трескотней извозчичьих пролеток, перестуком лошадиных копыт и говором множества людей, – разом тишина, но не сонная, не мертвая, а какая-то задумчивая, хорошая, осмысленная. Настежь распахнутые окна и звуки рояля – из одного, из другого, из третьего… Нескончаемые «ганоны», арпеджо, гаммы, а не то и Бетховен, и Григ, и Скрябин. Удивительно много музыкантов обитало на Поднабережной в этой ее верхней части – от Петровского сквера до Раевских казарм.

Улица была непроезжей. Между серыми камнями горбатой мостовой зеленела кудрявая травка, под дощатыми заборами и у ступенек подъездов как попало кустились лопушки, цикорий, желтые одуванчики, под которыми лениво, мирно, словно тут и не город вовсе, ползали красные, с черными точечками жучки, испокон веков именуемые детворой *солдатиками.* Тишина. Распахнутые окна. Музыка.

Похоже, тут никогда ничего не случалось такого, что могло бы нарушить ровное течение жизни, потревожить обитателей уютных особнячков, чем-то огорчить их.

Музыка.

Распахнутые окна.

Прозрачные звуки григовской «Весны».

Так виделось моим юношеским, восторженно раскрытым глазам, потому что сам я в ту пору чувствовал себя счастливым безмерно.

На самом стыке двух улиц – Манежной и Поднабережной – стояли два небольших дома: на углу Манежной – белый, двухэтажный, а прямо напротив, на взлобке высокого тротуара, другой, окрашенный в скучный желтоватый цвет, с шестью выходящими на улицу окнами. Эти два дома были, да, верно, и до конца жизни останутся в памяти как символический образ моей юности.

В одном из них, в одноэтажном, жил со своей семьей воронежский адвокат, или, как говаривали в старину, присяжный поверенный Ш. В другом – двухэтажном – большой знаток и ценитель поэзии Павел Леонидыч Загоровский. Если говорить о той давней поре моей жизни, когда началом и концом самого существования моего была поэзия, стихи, и вне стихов, вне поэзии я не мог себя даже вообразить, – то именно эти два дома, эти две точки на Поднабережной, являли собою как бы корень моего бытия. Они были – поэзия.

Но как сложно об этом рассказать…

Конечно, чего проще сочинить нечто вроде подстрочника с

трудно переводимого языка чувств, вроде того, как это делается в концерте, когда музыкальный лектор объясняет малоподготовленным слушателям содержание симфонической картины: «В первых тактах второй части вы слышите грохот разъяренных волн и треск рвущихся парусов…» – и так далее; и я, разумеется, легко мог бы набросать зеленый, солнечный дворик при доме присяжного поверенного, крокетную площадку с заветной старой скамеечкой под кустами разросшейся акации; дивный дикий, покрытый голубой голенастой полынью и лопухами пустырь, круто вздыбленный в гору, словно нависший над двориком, над площадкой… И веселый стук деревянных шаров, и звонкий смех и крики… И стеклянные переливы иволги, так славно сливающиеся с летящими из окон звуками слегка расстроенного рояля…

Больше того, самый дом присяжного поверенного изобразить не стоило бы труда: в нем все было, как и в сотнях других небогатых интеллигентных домов Воронежа, – цветы на окнах, венские стулья, накрытая старым цветастым ковром софа, граммофон и книжный шкаф с разрозненными собраниями сочинений классиков, прилагавшихся к «Ниве». Впрочем, граммофона, кажется, не было, но это, в конце концов, не имеет значения.

Главное, что отличало этот дом от многих других, было в том, что тут владычествовало *художество.* Оно во всем сказывалось: в охапке красных кленовых листьев, осенним костром пылающих на серой скатерти обеденного стола; в раскрытой нотной тетради, забытой на пюпитре рояля; в обливном зеленоватом кувшине с кистями (старшая из двух сестер Ш. была художница, заканчивала Петроградскую Академию); в загрунтованном грубом холсте на подрамнике, где чернел угольный набросок будущего портрета самого присяжного, читающего газету…

Ах, как много было кругом художества!

Но ведь еще и младшая Ш. была, ее удивительный прозрачный румянец в минуту смущения, гнева, обиды; ее багряная, немыслимой красоты рыжина волос, сиявшая, словно венец святой великомученицы, вкруг аскетически бледного, тонкого лица. Воспоминание обо всем этом, конечно, надо бы воплотить в хорошие стихи, в музыку, но где их взять? А сколько было написано и сколько разорвано на мельчайшие клочки! Ведь все, что ни сочинялось тогда – сочинялось *для нее,* все, о чем думалось – связывалось *с нею,* всюду была она, она, – и рыжая царевна в «Осенней поэме», и чародейка в смешном, сумасшедшем стихотворении «Ночью предосеннею, безлунной»,

из которою помню лишь одну эту первую строчку, а дальше… нет, забыл, – очень что-то дикое, нелепое, с огненно-рыжим палачом и отрубленной головой, которая

Немо шепчет жаркие слова:
– Жить хочу… любить… и целова́…

Но помню, что, сочинив, ужасно хотелось прочесть ей эти строки, однако взяла робость, застыдился, потому что «любить и целова…» – это ведь, в сущности, было признание. И продолжал обожать сокровенно, мучительно, краснея и запинаясь – и год, и два, пока не уехала в Ленинград, где вскоре вышла замуж.

Как полузабытые стихи, как мимолетное озарение, живет в памяти невзрачный дом на Поднабережной.

Как негромкая музыка, услышанная во сне: милые голоса, звонкие переливы иволги, гаммы на расстроенном рояле.

Как-то все в одно время сошлось – и первые напечатанные стихи, и влюбленность, и встреча с Загоровским.

Тут, пожалуй, чуточку сойду в сторону с главной дороги и кое-что расскажу о делах своих учебных. Я все еще пребывал в кооперативном училище, поклевывал носом на уроках бухгалтерии и товароведения, без особого усердия помаленьку одолевал другие науки. Почему-то жила во мне твердая уверенность, что все это – ненадолго, что вся эта скука – покамест, а дальше…

Но что дальше, я не знал.

На какое-то время нас, будущих кооператоров, развеселил новый учитель по литературе. Однажды в класс вошел невзрачный, средних лет гражданин в кургузой, сильно потертой кожаной курточке, с лицом, которое можно было бы назвать неприметным, заурядным, если б оно так удивительно не походило на еще не забытые портреты последнего русского царя. Не спеша, деловито вытащил он из брезентового замызганного портфельчика какие-то тетрадки и книги, и, как-то странно, дурашливо подмигнув, – «Ну, давайте знакомиться», – хихикнул.

Затем сказал, что до сего дня методика преподавания литературы была ошибочна: курс для чего-то начинался с непролазных дебрей древних авторов, и все эти Кантемиры да Ломоносовы с их чудовищными архаизмами одну лишь скуку наводили на молодых людей и, собственно, достигали одного: прививали навечно ненависть к литературе.

– Нужно ли нам, товарищи, копаться в подобной старине? – надменно задрал рыжеватую бородку, заложив руки за спину,

покачался с носка на каблук. – Нет, не нужно! – рубанул кулаком, как на митинге. – Решительно не нужно! Вам ли понять, – не меняя голоса, как бы продолжая разговор с нами, зашагал от стены к стене, —

Вам ли понять, почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду грядущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт…

Он дочитал до конца Пролог к трагедии, затем продиктовал прочитанное и, когда мы записали, велел всем читать хором. Мы веселились. Еще бы! Его предшественник был на редкость занудливый старичок. С ним мы безнадежно застряли в восемнадцатом столетии, а тут вдруг – через века! – Маяковский!

Это было здорово, и мы примирились с его императорской внешностью. Невероятная литературная карусель завертелась на уроках. Он любил читать стихи – и чего мы только не наслушались! Безумное поэтическое месиво хлынуло из недр замызганной курточки. Уроки пролетали опрометью, в неизменном веселье. Северянинское «Зашалила, загуляла по деревне молодуха» и бальмонтовские «кинжальные слова» и «предсмертные восклицанья», хлебниковская «смеярышня смехочеств», андреебеловское «носом в лужу, пяткой в твердь», и даже окаянный мой Коринфский Аполлон со своими «бывальщинами», – вся эта литературная чехарда сперва развлекала, радовала, что с Кантемиром покончено, что на уроках позволяется валять дурака.

Но через короткое время сделалось скучновато. Учитель сам оказался стихотворцем. Он принялся душить нас собственными сочинениями, которые также записывались и читались хором в тридцать глоток.

– Снеж-ж-но-неж-ж-ные одеж-ж-жды, – уныло голосили мы, – мать-земля подснеж-ж-жно спит… Тихо-тихо, безмятеж-ж-жно, даже ветер не ш-ш-шумит…

После чего нудно толковал об аллитерации.

И вот, когда он затарахтел своими бездарными виршами, – рыжая государева бороденка, водянистые глазки и кожаная его

курточка стали мне ненавистны. Я перестал посещать уроки литературы, а заодно и множество прочих.

Тут кстати в училище началась чистка по социальному происхождению, и меня исключили. Я даже обрадовался, что так случилось: наконец-то пришло время расстаться со счетоводством!

Начал жить сам по себе. Вольный ветерок жутковато засвистел в ушах. К этому времени и любовное наваждение рассеялось. Какие-то неясные мечтания стали одолевать, захотелось уехать в Ташкент. Но почему именно в Ташкент – едва ли понимал. Потому, верней всего, что – экзотика. Халаты. Верблюды. Басмачи. Необычайность.

Не то что у нас, где на зеркальных стеклах пивнушек ярко-красные, окантованные золотом, таращились великанские раки; из бесчисленных вертепов музыка тараторила вприпрыжку: «Джон Грей был всех смелее, Кэтти была прекрасна…» Франты носили узенькие, короткие, выше щиколотки, брючки, остроносые ботинки «джимми» и плоские шляпы-канотье. И лихачи с чистокровными, но бракованными на Хреновском заводе, хрипящими рысаками чертями носились по проспекту, шипя резиновыми шинами красноспицых колес…

От деревни, от углянского дома, я как-то отбился. Денег у отца просить было неловко. За стихи платили по гривеннику строка, этого хватало на еду лишь. А штаны все ветшали, ветшали…

И я поступил на работу в книжный магазин Госиздата.

Тут-то я и прослышал про Загоровского.

Однако опять-таки придется свернуть в сторону и рассказать об Исаке Гилевиче. Ведь именно от него я узнал, что живет у нас в Воронеже такой удивительный человек.

А с Исаком я познакомился в подвале, на складе магазина. Мы вместе собирали библиотечки для сельских изб-читален. Нас, молодых ребят, там человек шесть работало, но я его сразу из всех заприметил. Он носил потрепанную студенческую фуражку с каким-то техническим молоточком на кокарде, важничал и то мрачно безмолвствовал, сопел презрительно, то вдруг начинал хохотать подчеркнуто громко, ржать стоялым жеребцом. Во мне еще полно было деревенской застенчивости, и каждый раз, как он принимался ржать, я опасливо настораживался: не надо мной ли?

Книжечки, какие мы отбирали по спискам заказов, большей частью были по сельскому хозяйству – агрономия, зоотехника, садоводство. Или против религии – происхождение вселенной и

человека. Сказать по правде, невеселая работенка, скука, затхлый дух лежалой бумаги. Электрические лампочки чуть тлели – тусклые, мутные от пыли. К концу дня сонная одурь так одолевала, что хоть с ног вались.

И вот однажды в такую минуту я вдруг услышал хриплое бормотанье Исака:

Черная ночь, черный след,
Сонная чернь костра.
И так приходит черный рассвет,
Черный звон топора…

– Это чье же? – удивился я.

– Не важно. – Исак сделал надменную рожу. – Нравится?

– Да просто здорово! Такая чернота…

– Нет, правда? В самом деле?

Галантно, как барышню, даже с некоторой жеманностью, он взял меня под руку, и мы вместе пошли домой.

Была весна, теплынь, апрель. Мы оба писали стихи: нас ну прямо-таки прорвало в этот дивный розовый час раннего вечера. Захлебываясь, срывающимися голосами бубнили друг другу, он – свое, я – свое. Он: «Ты спортсменка с прекрасными глазами, а я простой пролетарский поэт»… Я: «Цветы ташкентского базара, халатов пестрядь и ковры… О, ярко красные шальвары! О, быстрый взгляд из-под чадры!» (Ташкентом бредил в снах, самое слово *Ташкент* звучало пленительно, как музыка). Он: «Раннее утро, еще темно, еще уходит бульвар во мглу, а трамвай уже точит нож за сквером, на дальнем углу»… В Воронеже еще не было трамвая, я его никогда не видел. Спросил недоуменно: почему – «точит нож»? Исак, оказывается в прошлом году ездил в Москву, трамвай ему был не в диковину, и он объяснил кратко:

– Скребыхает, понимаешь, по рельсам, как нож на точиле.

«Ах, черт! – подумал я. – Вот ведь как опростоволосился…» И прочитал в отместку:

Там, где чапыжник
в урочье волчьем
уходит на дно оврага,
леший гудит в переладец
ночью,
и тлеет, дымится чага…

Исак, конечно, ничего не понял – что за чага, что переладец,

что чапыжник, – но виду не подал, заметил снисходительно:

– Поэтично. Совсем как в «Гайавате»: шли команчи и чоктосы и – кто там еще?

И вот уже вечер пал. Осколок луны над немецкой кирхой на Никитинской. Там, в нише, долго сидели, читали наперебой – свое, чужое.

Потом, как водится, бесконечно провожали друг друга: он меня до Соляных амбаров[2], я его – до Средне-Московской. Расставаясь, я сказал, что было бы чудесно познакомиться с другими поэтами и собираться вместе читать стихи.

– А знаете, – таинственно захрипел Исак (мы с ним не вдруг перешли на «ты»), – знаете, я слышал, что у какого-то профессора вот так, как вы говорите, собираются…

И он впервые назвал до этого вечера незнакомую мне фамилию: Загоровский.

Стал я ломать голову – как бы это ухитриться свести знакомство с профессором и получить приглашение бывать у него.

Надо признаться, что самое слово *профессор* наводило робость. В короткой своей жизни я лишь единственного профессора видел – Н. А. Сахарова, который преподавал у нас в училище физику. Это был длинный, костлявый старик, темным, изможденным лицом удивительно похожий на древнюю икону какого-то сердитого святого. Страшно было и подумать пойти к такому. Но помог, как это часто бывает, случай, и все устроилось хорошо и просто.

В зале музыкального техникума шел вечер, посвященный Пушкину. Я опоздал, уже началось. На эстраде, словно черной гравюрой впечатанный в холодный, морозный блеск белых стен, в сиянии ослепительных люстр удивительный человек *пел* Пушкина:

> Т-р-рещат кавалер-р-гар-рдов шпор– р-ры,
> Л-летают ножки мил-л-лых дам…

Да, вот именно, не читал – пел. С треском раскатывал р-р-р, где о шпорах, ласково, певуче – о ножках «мил-л-лых дам». Впервые слышал я такое чтение – на звонких, высоких потах, – сама музыка, сама мелодия!

Человек был темноволос, темноглаз, необыкновенно пластичен в движениях; в его тонком, выразительном лице легко угадывался южанин. Я спросил: кто это? Мне ответили: Загоровский.

Оказывалось, его пригласили сделать небольшое вступление к музыкальной части вечера. Стихами он лишь иллюстрировал великолепную лекцию – но как! Он читал отрывки из Пушкина, но это был совсем не тот Пушкин, какого мы *проходили*, нехотя заучивали наизусть, за которого нам ставили пятерки или единицы, которого по призыву Алексея Крученых даже собирались «сбросить с корабля современности», – нет, что вы! Этот Пушкин поражал новизной и открывался вдруг, как чудо; каждая строчка этого Пушкина блистала, тревожила, улыбалась, звала. Думаю, что с Пушкиным у многих так происходило: открывался именно вдруг и на всю жизнь.

Я словно в столбняке сидел, боясь пошевелиться, спугнуть очарование. И лишь когда шумно зашелестели аплодисменты, вскочил, кинулся опрометью к выходу, с отчаянной решимостью остановить Загоровского, заговорить с ним, напроситься на его вечера.

Он долго не появлялся из комнаты, примыкавшей к эстраде, или «артистической», как ее называли: видимо, остался послушать концерт. До меня доносилась приглушенная музыка, я узнавал исполнителей: грозовые раскаты рояля – это известный скрябинист Г. И. Романовский; нежнейший вздох виолончели – Вольф-Израэль; квартет скрипачей – еще очень юные музыканты – П. Мирошников, М. Крячко, А. Рязанцев, А. Тимкин… Сцена на кладбище из «Каменного гостя» – студийцы Михаил Синий и Миша Берлин. Дон-Жуан и Лепорелло… Я терпеливо ждал.

Нот вот он вышел в антракте. Я кинулся к нему:

– Товарищ Загоровский!

Говор, шарканье шагов. Он не слышит. В отчаянии схватил за рукав.

– Вы ко мне? – обернулся. – Вы что-то хотите сказать?

Боже мой – сказать! Как скажешь, если глотку словно клещами перехватило, если язык онемел!

– Я… я… Позвольте мне к вам…

Он участливо и даже как будто с интересом вглядывался в мое, скорей всего, смешное, растерянное лицо. И вдруг:

– Вы пишете стихи? – спросил, видимо уверенный в том, что так оно и есть, что иначе и быть не может. – Приходите, конечно, искренне будем рады. Мы собираемся по четвергам. Запишите: Поднабережная, семь. Это на углу Манежной. Обязательно приходите…

Его окликнули, он сказал: «Простите, зовут», – поклонился и ушел, смешался с многолюдством А я, счастливый, обалдело глядел вслед и все повторял:

– Поднабережная, семь… Поднабережная, семь…

Улица моя роковая!

Стала задача: с чем идти, что прочитать? Вот когда робость лихорадкой заколотила – не осрамиться бы… Рассказал Гилевичу, тот заржал:

– Отлично! Вместе пойдем.

– Да, но что нести?

– Фу, черт! Тащи все – и «Ташкентские» и «Кабатчицу».

– «Трактирщицу», – поправил я.

– Какая разница, – пожал плечами Исак.

В половине восьмого мы отправились.

И – вот она, моя милая Поднабережная: знакомые, тысячу раз исхоженные, щербатые ступеньки тротуара; знакомая тишина, распахнутые настежь окна, музыка… И – белый двухэтажный дом, аккурат напротив того, другого, где жила семья присяжного поверенного. «Любить и целова…» Охапки кленовых листьев в карачунском кувшине… Все, все мгновенно откликнулось, вспомнилось, как вдруг проблеснувшая строчка стиха, – радостно и тревожно.

Но вот – черной клеенкой обитая дверь, визитная карточка: «Павел Леонидович Загоровский». Что ж этак топтаться-то у порога, надо звонить. Мы поискали кнопочку звонка, не нашли, постучали. Дверь открыл сам хозяин.

– А-а! Чудесно, чудесно! Сюда пожалуйте…

Через крохотную переднюю ввел нас в такой же крохотный кабинетик, где была уютная теснота от книжных полок и людей; где пронзительный девичий голос в общем гуле голосов кричал что-то о балалайке, а мрачный, глухой бас упрямо возражал: «Позвольте, Танечка, какая же это рифма, это черт знает что, а не рифма…»

– Знакомьтесь, – посмеиваясь, сказал Загоровский. – Вот, прошу, начнем со спорщиков: Таня Русанова, поэтесса (жест рукой в сторону худенькой, непоседливой девицы)… Пузанов Веньямин Петрович, прозаик…

Девица так и взметнулась.

– Вот вы, вот вы, – налетела на нас с Исаком, – вот вы скажите ему – какой ассонанс! «Балалайка – алым лаком»! А? Ведь как звучит!

– Черт знает что! – басил Вениамин Петрович. – При чем тут алый лак, не понимаю…

Он стоял, огромный, под потолок; из рукавов грубого самовязного свитера виднелись могучие толстопалые руки; лицо доброго славянского великана выражало огорчение и растерянность. И вдруг улыбнулся, весь расцвел добродушием.

– Ну, ну, мир, Танечка! Что же это мы с вами так раскричались из-за какой-то дурацкой балалайки…. Новые люди, что подумают, а?

Еще тут были: Миша Выставкин, поэт (золотая копна есенинских кудрей); странный восторженный мальчик, которого называли Поль (и который, кажется, ничего не писал, молчал весь вечер, а под конец вдруг ни с того ни с сего закричал, что в русской поэзии существует один лишь поэт – Георгий Петников); затем – рыжий, как медный таз, прозаик, красном Сапилевский; и, наконец, две девицы в летах – поэтессы.

Когда закончилась церемония представлений, нам велели читать. «Такой порядок, – сказал Павел Леонидыч. – Новички читают первыми».

И зазвенели Исаковы черные топоры, и зашумел мой кабачок, где:

Бродяги хлещут в «свои козыри»,
дерутся, пляшут, водку пьют,
но пред трактирщицею Розою
они почтительно встают…

Исак рубил наизусть, хрипловато, отрывисто; я – по бумажке, спотыкаясь, теряя голос, с отчаянием сознавая собственную бездарность. С превеликим трудом, через силу, дочитал и понял, что осрамился, пропал. Будто не я прошлой осенью, когда узнал, что напечатаны мои стихи, носился по городу всю ночь, когда уже – вот оно! – казалось, видел сияние славы, возмечтал высоко… Теперь ту ночь вспоминал с отвращением, со стыдом; казнил себя, что сам напросился на этот вечер к Загоровскому; что ужасно прочел – и что прочел! – глупейшие стишки о выдуманной трактирщице, о какой-то дурацкой, несуществующей стране… Да еще эта манерная, неуклюже-кокетливая последняя строфа, что «ведь кому-нибудь приглянется уютный этот синий мир, и «свои козыри», и пьяницы, и мне приснившийся трактир»! Стыд! Стыд! Руки надо рубить, чтоб не смел сочинять, не срамился бы с чтением… И вот теперь жди страшного позора, насмешек… Так, наверно, приговоренный, с завязанными глазами, ждет, когда свистнет над плахой обоюдоострый меч палача и…

Но нет, ничего, все обошлось, и даже похвалили *за технику*. «Какие же милые, деликатные люди!» – обрадованно подумал я. Однако радость оказалась преждевременной.

– Техника, техника! – презрительно дернула плечиком Таня. –

Нет, вы мне скажите вот что: где, в каком краю это происходит? Этот трактир ваш, он что, собственно, собою представляет? Приют бродячих бездельников? Поэтический бред буржуазного сноба? Да ведь с такими стихами забудешь, что была революция, что сейчас двадцатые годы двадцатого столетия, что…

Она прямо-таки задохнулась от негодования. А ее еще Миша Выставкин поддержал:

– Нет, братишка, – сказал, больно хлопнув меня по спине. – Писать ты, конечно, умеешь, но от жизни оторвался на все сто! Учти этот факт.

Неожиданно Вениамин Петрович вступился, стал защищать; пошли речи о романтике, о поэзии лирической и ее праве на жизнь, какие бы ни свершались революции. Таня резко, обидно возразила, и они снова сцепились. Но тут нас позвали пить чай, и так, не дошумев, спорщики пошли к столу и принялись за бутерброды с колбасой. Елена Михайловна Загоровская усердно угощала нас, было удивительно просто и хорошо, по-домашнему. И разговор вертелся уже не о сути возникшего в кабинете спора, а, с веселыми шутками, о самих спорщиках.

– Да это у них вечная история, – со смехом сказал Павел Леонидыч (он как-то по-особенному смеялся, словно взрывался смехом). – Представляете, чуть ли не до драки доходят… И знаете что? – спрятал смех, нахмурился, с профессорской строгостью: – Это необходимо увековечить, товарищи. На всех местах, где происходили их схватки, я предлагаю сделать такие мемориальные надписи:

Прохожий, стой! Остановись!
Такого-то числа и года
На этом месте подрались
Русанова и автор «Меда»!

– А что это – мед? – спросил я.

– Мед? Ах, да ведь вы еще не знаете… Вот, – Загоровский серьезно, но уже не по-профессорски, а светски-учтиво, как представляют в гостиных «хороших домов» (удивительно менялось его лицо!), – вот, рекомендую, автор книжечки стихов под названьем «Мед» (жест в сторону Пузанова)… В двадцать первом жители города Курска с раннего утра встали в длиннейшую очередь…

– Павел Леонидыч! – подняв руки, взмолился Пузанов. – Смилуйтесь, пощадите!

– Нет уж, позвольте! Ведь ярчайшая же страница в истории курской литературной жизни может исчезнуть бесследно. –

Загоровский взорвался, прыснул. – Дело в том, что, напечатав на свой счет книжечку, поэт решил ее еще и разрекламировать. В чисто американском духе. Что же он делает? На листках из ученической тетради пишет от руки всего два слова: «В. Пузанов. Мед» – и расклеивает листочки на столбах и заборах города Курска. Теперь позвольте довести до вашего сведения, что в дореволюционном Курске процветал бакалейный магазин некоего Пузанова – однофамильца, а сейчас в городе голодно, и не только сахару или меда – сахарина не найдете… И вдруг – мед! Мед! Ну, вот и выстроились куряне, гордые кмети, у Церабкоопа, где когда-то был Пузановский магазин…

Все валились от смеха, смеялся, конечно, и я. Когда тебе семнадцать, смеяться всегда легко и хорошо. И все-таки…

Расходились толпой. В те годы в городе рано наступала тишина. Он не гудел еще ночами непрерывным гулом невидимых машин и моторов, как гудит сейчас. Тишина была совсем деревенская. На перекрестках улиц дремали ночные извозчики. Но еще шумели, стучали кружками бесчисленные пивные, откуда устало, измученно завывали скрипки, тревожа уснувшую улицу прыгающими звуками «Кирпичиков» и все того же «Джона Грея». Да еще распахнутые настежь окна второго этажа «Казино» ярко светились. Там было напряженное безмолвие азарта.

Распрощавшись со всеми, мы не сразу пошли домой; долго бродили по тихим улицам, молчали, изредка перекидываясь незначительными замечаниями о вечере: что – Таня, да что – Выставкин с его рабским подражанием Есенину, да молчаливые поэтессы. И, конечно, сам Павел Леонидыч. Мне он понравился очень, а Исак что-то скептически помычал. Но у обоих, уверен, что у обоих, напрашивалось сказать то главное, о чем молчали: ну, хорошо, ну, пошли, почитали, послушали, чаю напились с бутербродами, а дальше? Дальше-то что?

Дальше мы с Исаком написали «Четтинга».

Но что это – Четтинг?

Это длинная-предлинная *кино-поэма,* как мы ее назвали. О страшном призраке зародившегося на планете фашизма. О хитрых кознях человеконенавистничества, раскинувшего черные щупальца в Европе и Америке, грозящего первому в мире социалистическому государству – России. О жутком оборотне, под серым куклусклановским балахоном которого (вместо лица – куколь, зловеще чернеющие прорези для глаз) – фрак и белоснежный пластрон денежного короля и дипломата.

«Четтинг» был не случаен, конечно. Уже появились первые выпуски «Месс-Менда». В библиотеках на «Хулио Хуренито»

записывались в очередь, эренбурговский роман зачитывался до дыр. Запрыгала фокстротная песенка «Чичисбей», все распевали:

Бродят по городу фашисты,
К дамам они пристают…

И даже газета «Воронежская коммуна» принялась выдавать тощенькие тетрадочки романа «Черный осьминог», автором которого являлся некий Мил-Мик. Бесшабашные, кошмарные, как бред, обложки к «Осьминогу» резал на линолеуме все тот же Костя Михнюк, о котором уже упоминалось. Я знал, что под таинственным псевдонимом скрывались два газетчика – редактор М. И. Лызлов и очеркист М. И. Казарцев. К этому времени я уже штатно работал в газете и видел не раз, как они запирались в редакторском кабинете и, потея и хихикая, строчили очередной выпуск «Черного осьминога».

Ничего не скажу сейчас о сюжете (что-то там так было накручено, что, в конце концов, авторы сами запутались и выпуски неожиданно оборвались), но вот один забавный случай помню. Очередной выпуск назывался «В парикмахерской Рублева»; там рассказывалось о тайном собрании секретных фашистских агентов, устроенном именно в парикмахерской под такой вывеской. Едва только тетрадка с «Черным осьминогом» запестрела по газетным киоскам, в редакцию пришел пожилой гражданин в старомодном котелке и, чуть не плача, сказал:

– За что?! На весь город опозорили! Я так не оставлю, я жаловаться буду…

Это был сам Рублев, хозяин маленькой парикмахерской на Мясном базаре; его звучная фамилия, видимо, соблазнила авторов «Осьминога».

Так вот – «Четтинг».

Боже мой, чего там только не было! И нью-йоркские небоскребы, и на зиму заколоченная досками подмосковная дача, и сборище куклусклановцев в островерхих инквизиторских колпаках, и самолетная катастрофа в джунглях, и красные разведчики, карабкающиеся по карнизам небоскребов, преследующие мистера Четтинга, нашего героя… Удирая от чекистов, он, слава богу, падает с крыши семидесятиэтажного небоскреба и разбивается, конечно, вдребезги…

Мы прочли свою поэму на «четверге» у Загоровского, и были похвалы, и нас сразу прозвали «четтингами». Мы вознеслись. Меня одно лишь озадачила: мы сочиняли всерьез, без малейшего желания рассмешить, а Павел Леонидыч то и дело взрывался веселым смехом, а когда кончилось чтение, сказал, что это

великолепная стихотворная пародия на современный приключенческий роман. И, конечно, Таня опять взвилась, и теперь разносила нас уже за то, что поэма суха, что она – рифмованная проза и нет в ней лирического огонька, нет поэзии.

Но в общем-то мы с Исаком чувствовали себя героями и осмелели настолько, что отправили «Четтинга» в Москву, в журнал «Молодая гвардия». Через две недели – ответ: «Дорогие товарищи, ваша поэма будет напечатана в одном из ближайших номеров. Редактор (подпись)».

Поэма наша, к счастью, не была напечатана.

«Четверги» сделались для меня светлыми праздниками. Нет, больше чем праздниками: необходимостью («такой, как дыханье» хотел было сказать, но вовремя спохватился, вспомнил Загоровского, который учил нас бояться штампов и банальностей). Ведь кроме того, что «четверги» сияли, как красные числа календаря, они еще и школой были, где мы постигали незнакомое и приучались относиться к себе критически. До знакомства с Загоровским русская поэзия кончалась у меня Блоком и Маяковским. Я не был слишком взыскателен к рифме – любая годилась, лишь бы звучала. От Павла Леонидыча пришел вкус к самой музыке стиха, к поиску свежей, неожиданно звучащей рифмы, к открытию.

Необыкновенно щедро он дарил нам свои знания, свой опыт, был нашим подлинным учителем. Впрочем, то, что Загоровский делал для нас, очень еще молодых, не умещалось в понятие учения: он *воспитывал* нас, прививал любовь к литературному труду, к обязательной «черной» работе. Каждый обязан был к очередному «четвергу» принести что-нибудь новое; мы много писали, писали – хотелось или не хотелось, заставляя себя работать ежедневно. «Ни дня без строчки» – слова, определяющие основу (как бы иные это ни оспаривали), первую заповедь литературного труда, впервые услышал я именно от Загоровского.

И все больше и больше молодого народу собиралось в маленьком кабинетике на Поднабережной, и уже до того тесно становилось, что иной раз и в передней пристраивались на стульях и табуретах, принесенных из кухни и из большой комнаты, где нас угощали чаем. Новые лица появлялись чуть ли не каждый четверг. Это, прежде всего, маленькая, по-южному смуглая Нина Логофет в женотдельской красной косынке или в клетчатой кепке с невероятным козырьком, так лихо сидевшей на ее вороных кудрях, что вспомнилось – и хоть картину пиши под названием «Комсомолка двадцатых».

Затем – один из авторов «Осьминога», Михаил Иваныч Казарцев (МИК), удивительно милый, с иронично поблескивающими стеклами пенсне, немногословный и сдержанный, пока дело не доходило до спора: тут он бывал беспощаден. Он писал очень талантливые рассказы о деревне, которую знал отлично, но почему-то в конце двадцатых годов, с переездом в Москву, перестал писать художественное и на всю жизнь посвятил себя журналистике.

Вскоре появился Алексей Иваныч Шубин, скромный и как-то по-старомодному благовоспитанный. Он пришел, известный пока еще воронежцам как довольно остроумный фельетонист (его фельетоны часто появлялись в газете за подписью «Ал. Ш.»), и мало кто знал об Алешиных занятиях поэзией.

Наконец заглянула к нам Елизавета Митрофановна Милицына; это была уже немолодая, известная писательница, в начале века сотрудничавшая в горьковском «Знании». Она по возрасту нам всем в матери годилась, и это, и еще ее известность несколько сковывали нас; при ней мы старались сдерживаться, не очень горланили. С великим уважением глядели на ее заношенную ватную телогрейку, на грубые, простой кожи башмаки. То, что она известная, *настоящая* писательница, живет в деревне, справляет там должность заведующей избой-читальней, «избачихи», виделось нам как подвиг, да оно в самом деле так, конечно, и было. Приезжая по своим делам в город, она обязательно наведывалась к нам на Поднабережную; сидела в уголке незаметно, помалкивала и с удивительно сияющей, доброй улыбкой глядела на нашу развеселую кутерьму, как бы говоря: «Славные, милые дети, вот только очень уж шалят…»

Но едва ли не самым значительным событием в нашем кружке было появление Андрея Платонова.

Его, кажется, Казарцев привел к нам, и для всех он явился великой новостью. Но я-то и прежде с ним встречался и уже рассказывал о самой первой встрече, когда он бросил суждение о моих стихах кратким словечком «имажинизьм», произнеся его с мягким знаком. Затем я много раз виделся с ним, но как-то от случая к случаю; ничем значительным знакомство наше не ознаменовалось, и про то нечего было бы и вспоминать, если б он не был Андреем Платоновым.

В этом большом писателе и необыкновенном человеке нынче нам все интересно – жест, взгляд, интонация голоса. Любая подробность, пусть даже на первый взгляд не стоящая внимания, в будущем может оказаться полезной и нужной при создании подробной биографии, которой, к сожалению, пока еще нет.

У Платонова я не замечал какой-то особой, свойственной

только ему жестикуляции, особой, не как у всех, манеры разговаривать. Все очень просто, очень скромно, сдержанно. Но вот ласковая кротость его внимательного взгляда, его улыбка и почти беззвучный смех очень запомнились. Тут надо сказать, что причиной смеха никогда не бывало пустое зубоскальство, а всегда что-то значительное, именно человеческого смеха достойное.

Я всегда слегка робел, встречаясь с Платоновым. Во-первых, конечно, разница в возрасте – семь лет – значила немало: он был взрослый человек, я – мальчишка; но еще и некоторая настороженность, боязнь насмешки меня сковывала: *имажинизьм* через мягкий знак запомнился и остался мною понятым все-таки как ирония.

Однажды столкнулись мы в дверях редакции, я шел туда, он – оттуда. Я вежливо, почтительно поклонился. Он негромко, по-своему, по-платоновски, хохотнул:

– Значит, говоришь, бога нету?

Я покраснел, аж в пот ударило. Дело в том, что как раз в сегодняшнем номере были напечатаны какие-то мои стишки антирелигиозные. Сочинялись они, верней всего, на скорую руку, накануне церковного праздника, по срочному заказу, и, разумеется, были далеки от совершенства. Убийственный смешок Платонова насчет бога ясней ясного говорил, что стихотворное изделие мое – дрянь, халтура, пустозвонство. Не знаю, так ли это было, но тогда я понял именно так.

И вот Андрей Платонов пришел к нам.

В то время он работал в губернском земельном управлении, много разъезжал по воронежским селам. Загорел, похудел, какая-то усталость появилась в глазах, по-прежнему ясных и добрых. Степным вольным ветерком повеяло в уютном кабинетике, уставленном книжными полками. Горьковатым духом полыни повеяло и машинным, что ли, маслицем… Чуть ли не в эту самую пору строил он первую в нашей губернии сельскую электростанцию, много и вдохновенно работал над претворением в жизнь великого ленинского плана электрификации страны.

Скромно примостившись за книжным шкафом, в месте затененном, внимательно, сосредоточенно слушал наши стихи. Многое из того, что было читано в этот вечер, раскритиковал резко, напрямик, но никто не обиделся: что ж, верно, поэзия наша была комнатная, ребяческая. Наступало время взрослеть.

А потом он достал из пиджачного кармана пачку узеньких листков и прочитал свой рассказ.

Не помню, как он назывался. Там говорилось о возчиках, заночевавших в Доме крестьянина. Как они, убрав лошадей,

зашли с мороза в чистое, хорошо убранное помещение, обобрали сосульки с бород, обогрелись и села ужинать; маленько выпили, потолковали о своих деревенских делах и полегли спать на чистых кроватях. И все. Но мы сидели ошеломленные. Меня поразило то, что он прочел, я принял его рассказ как стихи, хотя слова были самые простые, обыкновенные, и фраза связывалась просто, обыкновенно. Но, кажется, эта-то наивная простота, эта особенная какая-то обыкновенность и делали платоновскую прозу поэтичной и необыкновенной.

Когда он ушел, Загоровский сказал:

– Удивительно! Такому писателю подражать невозможно. Это единственное. Платоновское и ничье больше…

И еще раз, помолчав, повторил задумчиво:

– Удивительно…

Он заглядывал на наши «четверги» и после, но читал редко. Зато много и с увлечением говорил об электричестве, особенно о том, что оно для села. И в этих его устных рассказах обыкновенные, будничные слова опять-таки становились в такой особенный ряд, что какой-нибудь кустарный движок на безымянной сельской речушке делался подлинной поэзией электричества.

На конкурсе журнала «Красная нива» рассказ его «Бучило» получил первую премию. Это случилось в середине двадцатых годов. К этому времени кружок наш разросся; из тихого Павел Леонидычева кабинета мы выбрались «на люди», в клуб работников просвещения (Рабпрос) и стали называться «Черноземом».

Как и прежде, собирались по четвергам. И вот на один из «четвергов» заглянул Платонов. Мы уже знали о премии, полезли к нему с шумными поздравлениями. Он смутился, попытался перевести разговор на другое, избавиться от слишком назойливого внимания («Да ну вас, ребята, есть о чем толковать! Эка событие!»), но понял, что от нас не отделаться, и тогда решительно повернул к выходу и, сославшись на какие-то неотложные дела, ушел.

Потом уехал в Москву, и мы встретились с ним уже в году, кажется, двадцать седьмом.

«Наступало время взрослеть»…

Легко сорвались с языка эти слова, но как все в жизни оказалось не просто. Пороги пошли. Обвалы. Снова, как и три года назад, после жалких попыток с *собственной* композицией, вдруг старый колодец вспомнился. Некогда мне было ясно

сказано, что стихи Кудеяра Славянского – чепуха, бездарность.

И загудел Кудеяр в колодец.

Кинуть туда пачку тетрадок было не легко, но тогда, как-никак, оставалась надежда сделаться все-таки художником, живописцем. Надежда эта представлялась чем-то вроде свежего запасного войска в битве.

Но и тут, как мы знаем, оказалось поражение.

Нынче никто не говорил о моей бездарности, наоборот, похваливают, предрекают нечто этакое… А сомнение зудит, зудит: «Ох, миленький… не напрасно ль отстал от счетоводства-то?..»

И понять не могу – откуда оно взялось, это сомнение. И что же теперь делать? Что?

Запутался безнадежно.

Вот так однажды ветреным холодным днем янтарной осени тысяча девятьсот двадцать пятого сижу в Петровском скверике. Сиверко налетает порывами, рвет с верхушек деревьев ржавые листья. И нет у меня ни мыслей, ни желаний – ничего. Дал потачку нехорошему чувству жалости к себе, раскис совершенно. Какие-то обрывки стихов о ветре мерещатся, о ветре-убийце: взял за глотку, душит…

Пусти, кричу, ох… пусти!
А он не слышит, душит, свистит…

– Что это с вами? – прозвучал надо мною милый, знакомый голос. – Вам плохо? Нездоровится?

– Ах, боже мой… Павел Леонидыч! Нет, ничего… так.

– Однако видик у вас!

Подсаживается рядом на скамейку.

– Ну, ну, не скрытничайте. Что случилось?

Я ему все рассказал. Признался. Говорил о своих терзаниях бестолково, сбивчиво, чуть не плача. Он сперва серьезно слушал, хмурился, покачивал головой.

И вдруг взорвался своим удивительным, звонким смехом.

– Знаете что, Володя, вам совершенно необходимо проветриться… Да, да, вот именно – проветриться!

Я обалдело таращился на него. Рожа у меня, наверно, была глупейшая, потому что он опять засмеялся.

– Нет, серьезно, не обижайтесь, это бывает, От молодости, от избытка здоровья. У Лескова в одном рассказе есть мальчик, у которого от здоровья даже кровь носом шла… Но у меня, знаете, мысль: помните, вы все Ташкентом бредили? Самая пора вам сейчас поглядеть на него воочию, так сказать… Валяйте-ка в

Ташкент! Ну?

И понесло меня за тридевять земель.

Поезд пришел в два часа ночи.

Я вышел на вокзальную площадь, замирая от предвкушения небывалого: вот сейчас… вот сейчас…

«Цветы ташкентского базара, халатов пестрядь и ковры. О, ярко-красные шальвары! О, быстрый взгляд из-под чадры!»

Никаких ковров.

С огромного пятиметрового фанерного щита на меня пялился скверно нарисованный пучеглазый усач в плоской соломенной шляпке. В его великанской руке пенилась граненая кружка с белокипенным облаком через край. «ВСЕ ЗНАТОКИ ПЬЮТ САМАРКАНДСКОЕ ПИВО!» – беззвучно орал усач.

Ночевал в каком-то саду на пыльном полу эстрадной раковины. С рассветом вскочил, продрогший, кинулся глядеть чудеса. Но тут меня ждало разочарование: чудес не оказалось. Внешне все выглядело попроще и поскучней, чем это мерещилось в долгих моих мечтаниях о Ташкенте. Огромные скрипучие колеса повозок, вопли ишаков, черные женщины в паранджах, похожие на обгорелые пни, звенящие арыки вдоль тротуаров, торговцы-разносчики с лотками на головах, чалмы, тюбетейки, полосатые халаты, – вся эта экзотика куда-то на дальний план отступила, а на первом нагло выпячивался мордастый нэпман: все те же шляпы-канотье, толстухи в шелковых свистящих манто, витрины частных магазинов, реклама кино «Багдадский вор» с белозубой улыбкой Дугласа Фербенкса; наконец, казино с унылыми выкриками: сорок семь! шестнадцать! барабанные палочки! – все, все как в нашем, воронежском… И даже «Джон Грей» и «Кирпичики», и красные раки с золотой окантовкой на стеклах пивнушек.

Весь день протолкался по пестрым, шумным улицам Ташкента, вовсе не думая о том – что же дальше: как жить, чем заниматься? Я приехал глядеть и глядел во все глаза, врубая в память увиденное: белый трамвай – открытый, без стен, все насквозь видно; расфуфыренная барыня бежит, боится верблюжьего плевка (враз сложились стихи: «Франтиха-нэпманша в манто, в ком золото зубов наружу, не более лишь как фантом пред оком дерзостным верблюжьим»); всадники-красноармейцы проехали, черные от солнца, в буденновских шлемах, в полинялых гимнастерках с «разговорами»; темноликая красавица без паранджи, в бесчисленных змейках тонких вороных косичек; пухлый старик – зеленая чалма, мешки под глазными щелками, –

поравнявшись с ней, выругался, плюнул; толстяк в золотой тюбетейке, в белой толстовке, с портфелем; снова огромный плакат о самаркандском пиве («Все знатоки…»); и вывески, вывески, вывески…

Побывал в Старом городе, побродил по узеньким пахучим уличкам базара, где была невообразимая толчея халатов, двухколесных скрипучих арб, ревущих ишаков, надменных верблюдов. И крики продавцов, и свистки милиционеров-узбеков в смешных картузиках с красными донышками. И тягучие, монотонные звуки какого-то незнакомого инструмента, похожего на большую поварешку, и унылая песня слепца в грязной чалме (изможденное, в трещинах морщин лицо, десяток волос в бороденке, глиняный черепок для подаяния…).

Был уже вечер, когда я вышел к почтамту. Там яркими окнами светилась чайхана и так дивно пахло жареным мясом, что голова закружилась. Я заглянул в распахнутую дверь: столики, накрытые белыми больничными клеенками, венские стулья – не нары, как в других, – Европа! На низком потолке – лампа в виде шара, шипит, вздрагивает белым молочным светом… Я съел чашку плова, напился зеленого чаю без сахара, и сразу ослабели ноги, задремал. Чайханщик оказался добрым человеком: кинул в уголке за стойкой замызганный коврик и, взяв с меня двадцать копеек, позволил переночевать.

За Ташкентом замелькали Москва, Ленинград, Нижегородская ярмарка. И даже пешее хождение по волжским берегам.

В Ленинграде видел, как снимали фильму (тогда так говорили, не фильм, а фильма) о декабристах. На Сенатской площади горели костры и юпитеры, пластая гигантскую тень медного всадника на холодную, заиндевелую стену скучного здания сената. Бородатые мужики, скрипя валенками по морозному снегу, везли на дровнишках убитых солдат. Скрип снега слышал я, но не зрители, ломившиеся вскоре на картину: кино еще пребывало в немоте. Когда в необыкновенной давке, с трудом попав в кинотеатр, увидел «Декабристов», я обозлился: картина была полна сладенькой, кощунственной красивости. Высочайшего благородства, чистоты и смелости люди шли на смерть во имя высокой идеи, а зрителя угощали смазливенькими героями, дворцовыми интерьерами, сентиментальными вздохами и соблазнительно декольтированными дамочками. Трудный подвиг превращался в слезливую мелодраму. Картина делалась на потребу нэпачей и нэпачих.

Мне захотелось написать стихи, поэму о декабристах –

наперекор этой кино-конфетке, осмеивая ее. Сами собой набросались первые строчки:

Над омраченным Петроградом
Шагали дюжие солдаты.
Одухотворенность на лице —
Она становится преувеличенной,
Когда саврасый ундер-цер
Дает солдату зуботычину…

И так далее. Поэма в двести с лишним строк смастерилась легко, в три дня. Она была протестом. Мальчишеским, может быть. Сперва я хотел назвать ее «Не-декабристы», но в азарте драки с «фильмой» назвал еще ужаснее: «Протеза».

О ней будет рассказано особо.

По Волге ходил пешком из любопытства, вспоминая Горького и мельниковскую эпопею о старой жизни лесной Руси. Много интересного зарисовал в тетрадь: деревянные церквухи, кладбищенские голубцы, резные наличники окошек.

Стихи же как-то вовсе не шли на ум. Такая могучая, такая русская, великая красота открывалась с гористых берегов Волги, что самая мысль о возможности сочинительства, о рифмах и размерах казалась противоестественной, кощунственной даже.

И так, досыта наглядевшись на множество чудес и красот, опять-таки вернулся в Воронеж.

Была осень, рыжие листья на тротуарах, утренние туманы. А на стенах, на заборах, на старых афишных тумбах – аршинными буквами яростно алело одно лишь единственное слово:

МАЯКОВСКИЙ.

Я представляю себе, как с легким чемоданчиком в руке он вышел из вокзала – огромный, в своей знаменитой серой куртке с шалевым меховым воротником, в слегка сдвинутой набок кепке, и, улыбнувшись, огляделся.

Во всю ширину вокзальной площади раскинулся извозчичий табор. Коняги всех мастей – гнедые, пегие, вороные, серые в яблоках, буланые; пахнущие дегтем и кожей пролетки – ободранные, обшарпанные или ослепительно блестящие черным лаком, с толстыми резиновыми шинами (*на бутиках,* как это называлось); лихачи – с покрытыми голубыми и лиловыми сетками чистокровными орловскими рысаками. Наконец, сами извозчики, – от классических седобородых, старорежимных «ванек» до нахальных, мордастых, вечно полупьяных лихачей; одетые в заплатанные, выцветшие или, наоборот, новые, густо-синие, суконные армяки, но одинаково подпоясанные наборными, с блестящими бляхами ремешками.

Извозчики горланили, перебивая друг у друга седоков, лошади ржали, фыркали, взвизгивали. Тучами носились и оглушительно гомонили разжиревшие от конского навоза оголтелые воробьи. Черные шапки вороньих гнезд громоздились на голых деревьях. А посреди всей этой лошадиной и птичьей неразберихи, сверкая на осеннем солнышке позолоченным крестом, стояла затейливая, с решетчатыми оконцами часовня.

Все это увидел Маяковский, переступив порог воронежского вокзала.

Он только что вернулся из большого заграничного путешествия. На его башмаках еще, может быть, оставались пылинки Монмартра; бродвейская лампиония еще вспыхивала в памяти огнями разноцветных реклам; нью-йоркские стриты потоком сверкающих автомобилей еще стремительно проносились перед глазами, – словом, еще очень жива была в его памяти вся та яркая и показная роскошь послевоенной заграницы, подлинную духовную нищету которой он так беспощадно видел и бичевал. А сейчас перед ним был кусочек провинциальной, но бесконечно милой его сердцу России, той Родины с большой буквы, с которой он вместе голодал, ходил в бои и которую неустанно славил так, как не могли прославить десятки стихотворцев, его современников.

Мы, человек пять-шесть тогдашних молодых воронежских поэтов, знали день приезда Маяковского и решили встретить его

на вокзале. Правду сказать, все мы немного робели: для нас он являлся не просто столичной знаменитостью, а знаменем был, нашим богом, нашим солнцем.

Встретить Маяковского на вокзале нам не удалось: он приехал часа на два раньше, не с тем поездом, с каким его ожидали. И вот мы кинулись к гостиницам. В «Центральной» нам сказали, что Маяковский приехал, но тотчас ушел куда-то, и мы догадались: конечно, он смотрит город.

Воронеж тысяча девятьсот двадцать шестого!

Нашей молодежи, привыкшей к асфальтированным мостовым, непрерывному шуму уличного движения, подземным переходам, светофорам, ярким витринам магазинов, Воронеж тех лет показался бы деревней: буйно разросшиеся за домами сады, тихие, сбегающие к речке улички, классические пожарные каланчи, столетние каштаны и тополя, ряд одноэтажных развалюшек на месте нынешнего «Утюжка», башенные часы ювелира Михайлова – «Михайловские», возле которых испокон веков назначались любовные свидания, золотые луковицы множества церквей, голубятни и великолепные извозчичьи биржи у вокзала и театра, это вековечное тарахтение пролеток по булыжным мостовым… И самые мостовые, сквозь серые камни которых пробивается мелкая зеленая травка…

Вот примерный портрет Воронежа первых послереволюционных лет, когда горожане еще говорили по старой привычке: «возле губернаторского дома», «за Митрофаньевским монастырем», «напротив второй гимназии», а улицы все больше были Воскресенские, Введенские, Богословские да Соборные. И всюду – нэпачи в твердых старинных котелках, в кургузых, дудочками, брючках, возродившиеся сычевы, с их бытом «под Европу», уродливым, гнусным бытом воинствующих мещан, для которых мир кончается за пределами их особнячков с зеркальными стеклами и искусственными пальмами, бытом, о котором гневно кричал Маяковский:

Грязня сердце
и масля бумагу,
подминая Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта…

Однако все это, конечно, внешние приметы времени. Не они

были настоящим. Настоящее зрело и поднималось, и оно было то новое, жизнеутверждающее, советское, чем жила вся страна, чем жили мы, молодежь.

Так, на широком дворе бывшей мужской гимназии взвилась в воронежское небо деревянная мачта первой радиостанции.

У огромных окон типографии толпился народ: в печатном цеху работала, всех удивляя, умнейшая, невиданная доселе ротационная машина.

Но самым ярким и звонким событием года был, разумеется, пуск трамвая. Рассыпая голубые искры и весело треща звоночками, он промчался по тихим, поросшим травкой улицам. Толпы горожан стояли по обочинам тротуаров, с восхищением глядели на сверкающие новенькие красные вагоны «электрической конки», как снисходительно называли трамвай нафталиновые интеллигентные старички в черепаховых пенсне и черных крылатках с бронзовыми застежками в виде львиных морд.

Трамвай пошел!

Это было здорово! Это зачиналась как бы эра нового города. Об этом стоило писать стихи. И такие, очень хорошие, стихи написала юная поэтесса Нина Логофет.

Она нашла-таки Маяковского.

Побывала у него в гостинице и, радостная и гордая успехом, размахивая какой-то книжицей, прибежала в редакцию «Воронежской коммуны», где мы собрались, и объявила, что все улажено и что после выступления в театре Владимир Владимирыч приедет к нам и будет слушать наши стихи.

Книжица же, которой размахивала Нина, была стихотворением Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского». С памятной надписью Владимир Владимирыч подарил эту книжечку счастливой поэтессе, и мы, сказать по правде, немножко ей завидовали.

Однако возникал вопрос, куда пригласить Маяковского? Какие-то домашние обстоятельства помешали Павлу Леонидычу собрать нас у себя. Решили привезти Маяковского в большую, удобную квартиру воронежского врача и тотчас дали туда знать об этом. Хозяйка ахнула и побежала покупать колбасу и булки для вечернего чаепития. А мы разошлись по домам, чтобы приготовиться к встрече: из груды стихов требовалось отобрать те, которые не стыдно было отдать на суд Маяковского.

Не знаю, как другие, а я провозился с этим очень долго. Выберешь одно, перечитаешь – ох, плохо… Другое, третье, – нет,

все не то. И – снова сначала. Стихов я тогда писал множество – три, пять в день, взахлеб. Наверно, не мог не писать, распирало. И вот я выбирал, отбрасывал, снова отбирал, и в таком бестолковом занятии пролетело время. Пора было идти в театр, а я еще ни на чем не остановился, и мне ничего кроме не оставалось, как захватить с собой толстенную конторскую книжищу, куда переписывал стихи набело.

К гроссбухам всегда был неравнодушен.

И вот наконец – театр.

Старинный воронежский театр, с его нелепыми башенками, с игрушечными теремками на крыше, с массой труб и каких-то совершенно непонятных выступов и возвышений, делающих его верх удивительно похожим на затейливое кондитерское изделие.

В этом театре в тридцатых и сороковых годах прошлого века выступал великий Мочалов. Сюда хаживал Алексей Кольцов.

Глазастые афиши с именем Маяковского пестрели у ярко освещенного входа. К дверям то и дело подкатывали извозчики. Толпа запоздавших чернела у входа; администратор сбился с ног, устраивая самых энергичных на приставные стулья.

Город хлынул на вечер Маяковского, всем хотелось послушать замечательного поэта. Но какая-то (и немалая) часть воронежцев пришла просто поглазеть на него: из третьих и четвертых рук нахватав россказней о желтых кофтах, о литературных скандальчиках в богемных кабачках предреволюционных столиц – Петрограда и Москвы, весь этот народец страсть как хотел повидать такое чудо. Театр был переполнен.

Перед самым началом мы все прошли за кулисы и познакомились с Маяковским. Нас представила Логофет.

– Очень хорошо, – здороваясь, сказал Владимир Владимирыч. – Вы, оказывается, и в самом деле молодые… А то бывает, говорят: молодые, молодые, а на поверку – от них нафталином несет за версту! Ну, вот что, – поглядел на часы, поднялся, – пора работать, товарищи. Люблю, чтоб аккуратно. Договоримся так: когда кончу, пусть кто-нибудь зайдет, и мы отправимся. Так?

Зайти поручили мне.

На пустой сцене – маленький столик и стул. Вышел театральный служитель, поставил на столик стакан крепкого чая. И тотчас появился Маяковский. Его сразу узнали, захлопали. Он снял пиджак и повесил его на спинку стула. В зале раздался смешок.

– Прошу извинить, – подходя к краю сцены, спокойно сказал Маяковский. – Сейчас начну работать. Чтение стихов, – пояснил, –

это, понимаете, моя работа. Без пиджака удобней.

Ложи, где белели накрахмаленные манишки и розово поблескивали лысины, пошелестели негодующе, пофыркали.

– В конце концов, – Маяковский добродушно улыбнулся, – я не так уж плохо выгляжу и без пиджака… Этот жилет, например, – похлопал ладонью по своему знаменитому вязаному жилету, – куплен в Париже, и он не так дешев, как вы, быть может, думаете. Штаны на мне американские, и тоже, знаете ли, не из дешевых.

Ложи примолкли, явно озадаченные.

– Всякий раз, – продолжал Владимир Владимирыч, – в записках мне задают уйму вопросов. Города разные и разные вопросы, естественно. Но есть два, которые повторяются в каждом городе: на какие деньги я путешествую по заграницам и что такое поэзия. Так вот, чтоб не писали зря, хочу наперед ответить на роковые вопросы. Первое: на чьи деньги путешествую? На ваши, товарищи! Вы покупаете мои книги, а Госиздат платит мне гонорар…

В зале возникло так называемое веселое оживление.

– И второе: что такое поэзия. Товарищи! – громыхнул Маяковский. – На эту тему тыщи томов написаны с древнейших времен и до наших дней, а вы хотите, чтоб я ответил одним словом. Ну, хорошо, давайте, отвечу: поэзия – это фонтан.

Галерка весело заржала.

– Конечно, – заложив руки за спину, он шагал по сцене, – меня могут спросить, и даже обязательно спросят: а почему – фонтан? Действительно, почему? Ну, не фонтан, – отвечу я…

Засмеялись, захлопали дружно. Маяковский развел руками, – ну вот, мол, сами понимаете. Через минуту он уже читал:

Испанский камень
слепящ и бел,
а стоны —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил…

Зал притих. И вдруг в этой сосредоточенной тишине – скрип двери, свистящий шепот билетерши, приглушенные, отрывистые восклицания короткой, но энергичной перебранки, и – бочком, бочком, сломив сопротивление билетерши, в партер протиснулись двое: похожий на Эмиля Золя пожилой мужчина в

пенсне и дама. Воровато озираясь, провожаемые недружелюбными взглядами, они топтались в проходе, искали свой ряд. Нашли наконец и, рассыпая направо-налево извинения, стали пробираться на место.

Сразу же, как только началась перебранка в дверях, Маяковский умолк. Опершись на спинку стула, он стоял неподвижно и пристально следил за опоздавшими. «Золя», как червяк, извивался под спокойным, холодным взглядом. Он улыбался в замешательстве, не смея взглянуть на сцену, поправлял пенсне и даже, кажется, высморкался.

– Устроились? – уничтожающе-вежливо спросил Маяковский.

Бедный «Золя» заерзал на месте: огонь направленных на него взглядов был нестерпим.

Маяковский начал «Океан» снова.

О том, как изумительно читал он свои стихи, много написано и рассказано, и тут ничего нового не добавишь. Чуть хрипловатый, огромной силы бас совершенно свободно, без видимых усилий лился из широкой груди большого прекрасного человека. Маяковский не просто читал – он жил стихом, жил и дышал в каждом слове, в каждой интонации.

Вот это-то мастерство его чтения, когда волшебно оживали слова, по внутренней своей силе доходившие чуть ли не до физической осязаемости, – это мастерство покоряло слушателей и обезоруживало врагов, а равнодушных делало союзниками.

Но, повторяю, о великом мастерстве Маяковского-чтеца многие хорошо рассказали, и я не буду останавливаться на этом.

Чтение продолжалось. Покоренный зал был послушен, как дитя. Замирая, вздыхал, когда, помолчав, Маяковский окидывал долгим взглядом зал, точно видя, как:

цвели кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров… —

или с легким шумом удивленных восклицаний настораживался: что это?

– Странные стихи, – сказал. – Я и сам не знаю, где они кончаются… Условимся: когда отхлебну из стакана – значит, конец.

Превращусь
не в Толстого, так в толстого, —

ем,
пишу,
от жары – балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

И в самом деле, прочитав последние строчки:

Я родился,
рос,
кормили соскою,
жил,
работал,
стал староват..
Вот и жизнь проходит,
как прошли Азорские
острова, —

Маяковский отошел к столику, улыбнулся милой своей, чуть застенчивой улыбкой и отхлебнул из стакана.

Так был закончен цикл стихов об Америке, – то, что обещалось в афишах. Зал ревел от восторга, аплодисменты грозили развалить старые стены театра.

Затем он отвечал на записки.

Я видел, как «Золя» строчил и вырывал из блокнота листок за листком. Это, наверно, были злые, ехидные вопросики – та мелкая дрянь обывательщины, которую так беспощадно, под общий хохот хлестал Маяковский.

Однако обыватель не сдавался. Пенсне прыгало на вспотевшем носу, нервно тряслась бородка.

– Мы вас не понимаем! – истерично крикнул кто-то из крайней ложи.

– Мы?! – поднял брови Маяковский. – Да много ль вас? Товарищи! Поднимите руки, кто не понял!

Неуверенно поднялось с десяток рук.

– Раз, два… три, четыре… восемь! – подсчитал Маяковский. – Ну что ж, – улыбнулся, покивал головой, – процент малограмотности не так уж велик.

«Как вы расцениваете Есенина?» – спрашивалось в одной из записок.

– Лучше всего, – сказал Маяковский, – на эту записку я отвечу стихом.

И, помолчав, начал:

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной…
Пустота…
летите,
в звезды врезываясь…

Это были тогда еще не очень известные стихи, посвященные Есенину.

Но вот отгремели восторги, народ пошел одеваться. Боже мой, что творилось у вешалок! Какие отчаянные схватки довелось увидеть изумленным гардеробщицам! Люди орали, – тут они открыто разделились на маяковцев и староверов. Брызгая слюной, «Золя» визжал:

– Хам! Хам!

– Э-эх, папаша, – укоризненно говорил ему вихрастый детина в застиранной вельветовой толстовке, – ну чего кипятитесь? В девятнадцатом кой-кто, не вам чета, хотел Советскую власть слопать – не вышло!

– Позвольте, – опешил «Золя», – вы про что?

– Да вот про это самое, – ухмыльнулся вихрастый.

Я кинулся за кулисы.

– Куда? – пожарник в гладиаторской каске стоял неумолимо. – Посторонним не разрешается.

– Мне к товарищу Маяковскому, – попытался я прорваться. – Он ждет меня…

– Кто там ждет, – равнодушно буркнул гладиатор. – Усе разошлись давеча.

Я обомлел.

– Как… разошлись?

– А так и разошлись, – повернулся ко мне широченной брезентовой спиной.

Понесся к гостинице, соображая по дороге, что, может быть, я перепутал, не так понял: он не в театре ждет, а в гостинице.

Был первый час. Мелкий дождик сеял. Стояла тишина. Нахохлившись, словно мокрые вороны, неподвижно сидели на высоких козлах извозчики. Сыпля голубые искры, трамваи шли в парк. С этого часа начиналась работа ночных извозчиков.

Я спросил у швейцара, не приходил ли Маяковский.

– Этот большой-то? Нет, не приходил.

Растерянный, я вышел на улицу.

– Поехали, что ль? – заворочался крайний извозчик. –

Садитесь, дешево отвезу… На рысистой.

«Что ж это? Неужто потерял Маяковского?»

Но вдруг слышу шаги впереди. Ровные, тяжелые. И палка стучит по мокрому тротуару. Вглядываюсь сквозь переливчатую сетку дождя: идет великан… Он!

– Владимир Владимирыч! А мне пожарный сказал, что вы ушли…

– Бывает, – рассеянно басит Маяковский. – Так называемое недоразумение.

И вот мы трясемся на «рысистой». Жалобно дребезжат вихляющиеся колеса обшарпанной пролетки по скверной булыжной мостовой. Сонные дома. Мутные, сквозь мокрый туман, колеблющиеся круги фонарей, Лошадь бежит такой сноровистой рысцой, что кажется, будто мы на одном месте.

Краеведческий музей, екатерининский «путевой дворец», медленно проплывает мимо, как во сне. Тогда он стоял еще не загороженный каменной громадой Управления Юго-Восточной дороги и всем своим архитектурным великолепием смотрел на улицу.

– Сплошной восемнадцатый век, – мрачно вздохнул Маяковский. – Вот разве только трамвай… Ты что, – вдруг обернулся ко мне, – стихи пишешь?

Я сказал, что стихи и что в газете.

– Это хорошо, что в газете.

И принялся расспрашивать, кто и какие мы.

Почему-то получилось так, что на встрече с Маяковским нас оказалось только пятеро: Загоровский, Логофет, тот восторженный юноша, что единственным поэтом признавал лишь Петникова, какой-то случайный заезжий поэт и я.

На столе докторского кабинета громоздились груды бутербродов. Огромный медный самовар уютно посвистывал. Маяковский сидел среди нас, как задумчивый великан, и молча, очень серьезно пил чай.

Всех нас, только что слышавших в театре раскаты его могучего голоса, поразил этот тихий, молчаливый и даже как будто застенчивый Маяковский. Видно, вечер утомил его, он отдыхал в молчании. Мы не мешали ему.

Наконец Владимир Владимирыч (он сидел за столом) откинулся на спинку стула, оглядел нас и просто сказал:

– Ну что ж, почитаем, товарищи?

Это, помню, был страшный момент. Я струсил и почувствовал, как у меня перехватило в глотке. В нерешительности, кажется, были и другие.

Смелее всех оказалась маленькая Логофет. Бесстрашно вынула она из кармана кожаной курточки свои листки и голосом, правда, несколько дрожащим от волнения, начала читать стихи о трамвае.

С первых же строк (я отлично видел это) Маяковский насторожился. В стихотворении, которое я, к сожалению, не могу привести на память, говорилось о том, каким был старый, «дотрамвайный» Воронеж с его прочно устоявшимся мещанско-купеческим бытом, с его сонной, медленной жизнью.

Одни извозчики —
и нет трамваев! —

заканчивалась первая строфа и повторялась в конце тех строф, где говорилось о недавней воронежской старине. Затем начиналась звонкая ода трамваю – блистающему, яркому, звенящему, – трамваю-символу, радостной примете Воронежа нового, советского. Стихи, как я уже рассказывал, были здорово написаны, и Маяковский вполне оценил их. Когда Нина кончила чтение, он сказал:

– Очень хорошо!

И, глядя поверх наших голов, с удовольствием повторил:

– Одни извозчики – и нет трамваев…

Затем попросил у Логофет листки со стихом и обещал напечатать его в «Новом Лефе». Нина сияла. Еще бы!

А я был подавлен: после такого великолепия все в моем гроссбухе представилось мне такой дрянью, что нечего было и срамиться.

И я решил: не буду читать.

Заезжий поэт довольно бойко, кокетливо грассируя, продекламировал незначительные, но с претензией стихи. Маяковскому они явно *не показались,* он слушал рассеянно и долго молчал затем, позванивал ложечкой о стакан. В молчании вдруг забубнил себе под нос из «Цыганской рапсодии» Сельвинского:

– Гей-та, гоп-та, гундаала, задымила, дундаала…

Молчание было тягостным. Павел Леонидыч решил рассеять неловкость. Он спросил:

– Скажите, Владимир Владимирыч, какого вы мнения о конструктивистах?

Маяковский улыбнулся.

– Да ведь никаких конструктивистов нет, это все выдумки, чепуха. Есть талантливый поэт Сельвинский. А конструктивизм…

Показал жестом. И снова, поглядев сквозь нас, произнес задумчиво и как-то сокрушенно даже:

– Одни извозчики… и нет трамваев.

Это уже было недвусмысленно. Заезжий поэт понял и, сославшись на позднее время, поспешал откланяться.

Когда он ушел, Маяковский с добродушной усмешкой поглядел на меня.

– Ну, а ты, пожарником обманутый… Раскрывай-ка свою книжищу…

И я с отчаянием, решив, что двум смертям не бывать, прочитал поэму о декабристах. Сперва волновался, слова застревали в горле, и я, собственно, не читал, а всхлипывал:

Над омраченным Петроградом
Шагали дюжие солдаты…

А затем разошелся, – в поэме было больше двухсот строк, – и стал читать ничего себе, разборчиво. И даже, совсем осмелев, смешно протараторил про рылеевский телефон – «звонит в передней телефон и, руша кринолинами, жена бежит вскричать «алло!» – чрез спальню и гостиную».

И про скачку царя со свитой, – снова вспомнив ночной бешеный скок воронежских пожарных в тысяча девятьсот пятнадцатом году…

Когда кончил, Владимир Владимирыч взял нелепую мою приходо-расходную книгу и молча перелистал поэму.

– Тебе не жаль вырвать ее? – спросил. – Я бы напечатал.

Может быть, оттого, что ушел заезжий поэт, оказавшийся как бы инородным телом в нашей компании, или Маяковский просто отдохнул после выступления в театре, только он стал заметно разговорчивее и веселее.

Рассказал кое-что о своем путешествии – о том, например, как от всех этих внешне великолепных европ нестерпимо тянет противным запахом мещанских сундуков. О Париже, где, несмотря на Эйфелеву башню и Пикассо, водится самая настоящая шпана, похлеще нашей, так что по ночам бывает небезопасно даже в центре.

– Я, например, без этой игрушки не выходил, – показал нам маленький, красивый пистолетик, который весь целиком помещался в его кулаке.

Разговор зашел о странной гибели Есенина.

– Что в вашем кругу, – спросил кто-то из пас, – говорят о его смерти?

Маяковский помрачнел.

– В моем кругу, – сказал, – сплетнями не занимаются.

Было очень поздно, дело шло к рассвету.

По темным воронежским улицам шли мы, провожая Владимира Владимирыча. Все так же сеял мелкий дождик осенний. В Петровском сквере, поблескивая мокрым бронзовым кафтаном, бессменно стоял великий корабельщик – Петр. По небу шибко бежали рваные предрассветные облака. Где-то на окраине взревел фабричный гудок, ему откликнулся другой, третий. Вдалеке сверкнули и рассыпались ослепительные искры первого трамвая. Город просыпался и еще в темноте начинал свой новый день.

И лишь кое-где нелепыми, доисторическими призраками чернели дремавшие под одинокими фонарями ночные извозчики.

Маяковский, крупно шагая, читал нам еще не напечатанный «Разговор с фининспектором о поэзии»:

Гражданин инспектор!
Простите за беспокойство…

Читал во весь голос. Эхо отзывалось в мокрых воронежских садах. Первые ранние пешеходы останавливались в недоумении. Над просыпающимся городом гремел Маяковский:

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год – труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн словесной руды!

Испуганные, вздрагивали сонные извозчики, вертели головами: откуда это гремит? И даже дождик перестал, будто бы вслушивался. Запоминал Маяковского.

Утром он уехал из Воронежа.

Было лето двадцать седьмого года – жаркие дни, благодатные дождики, веселые грозы. Была радость жизни, ощущение здоровья, легкости тела. Было желание много работать, и я действительно целыми днями не расставался с крохотной тетрадкой, куда записывал кое-что новое.

Задумалось огромное – «Поэма Десятилетия». Приближалась великая годовщина. Десять лет, как десять огненных страниц, вписала в историю человечества наша страна. Эти годы-страницы, – от первых ночных выстрелов октябрьской ночью (когда я, нарушив запрет, открыл дивный ящичек с красками, попробовал и ужаснулся); от первой годовщины с первым написанным мною плакатом; от вихревого буденновского марша через Углянец до звенящего воронежского трамвая, до Маяковского, – ах, как эти годы-страницы еще горячо, живо светились в памяти! И как чудесно соединялось все с художеством моим, с отчаяниями и радостями, со старым черным колодцем и с приветливыми, ласковыми словами Владимира Владимирыча!

В какой далекой дали зарождался замысел! Так и не написанные тогда стихи остались жить во мне, накапливались многие годы, и лишь тридцать лет спустя, незабываемыми образами просветив через всю жизнь, воплотились наконец в том, что было сделано уже в пятидесятых годах и что было названо «Воронежской поэмой»…

Итак, сиянием счастья полнилось лето двадцать седьмого. Но нет, чернело все-таки облачко…

Еще зимой в «Новом Лефе» появились стихи Нины Логофет – о трамвае. А моя декабристы? «Протеза» моя? Номер журнала, еще номер… еще, еще – где же они?

Нет, я не впал в отчаяние. Думаю, что от него меня спасла увлеченность новой работой. Да ведь и повзрослел же я, в конце концов…

«Ну что ж, – думал, – верно. Владимир Владимирыч, прочтя внимательно, нашел стихи мои слабее, чем они ему сперва показались… Но заметил же он поэму! Заметил!»

Это меня как-то успокаивало, и я примирился с тем, что не видать мне «Лефа», как своих ушей. Запоздало маячило в сознании: не то, не то прочел, что-то другое надо было бы выбрать…

Как мог, отмахивался от назойливой этой мыслишки. Так подошел июль – и я почти забыл про поэму.

Но вот однажды, дожидаясь очереди в парикмахерской, просматривал юмористические журналы – «Крокодил», «Ревизор», «Бегемот», – их много тогда выходило, – и вдруг с крокодильской полосы фамилия моя на меня зыркнула. В известном разделе – не то «Вилы в бок», не то «По литературным ухабам» – была напечатана преехидная заметка о том, что «Маяковский отыскал нового «гениального поэта» – я не дословно, не точно привожу текст журнальный, но именно он был такой, в слегка издевательской манере, – а ниже цитировались строки из моей

«Протезы».

Я оторопел, ничего не мог сообразить: каким образом стихи попали в «Крокодил»? Что все это значит? И лишь сидя в душистых, прохладных объятиях парикмахерских салфеток, понял: да ведь напечатана поэма-то! Черт возьми, напечатана!

А на следующий день пришел денежный перевод, и следом – открытка. Владимир Владимирыч извинялся за некоторое опоздание, за скромность гонорара. Но что – гонорар! Хотя при моих сильно потрепанных штанах и это кое-что значило.

Мне двадцать один год исполнился, я был молод, здоров, уверен в себе. Уверен, что – вот она, вершина, до которой один лишь шаг.

Но что же делать теперь?

Ах, боже мой, – что-что… Ну, конечно!

Почтовый поезд Воронеж – Москва тащился медленно. За окном плыли не спеша сжатые поля, пожелтевшие перелески. Восемнадцать часов плелся поезд до Москвы, останавливаясь чуть ли не у каждого столба. Нетерпение разбирало, распирал восторг. Я выходил в тамбур и под грохот колес, как тогда, в двадцать втором, орал дикие, бессловесные песни. Счастью моему, как и здоровью, видно, пределов не было. Я был во всем уверен. Я все, что будет, знал.

Но об одном лишь не догадывался, что с каждым мгновением, с каждым перестуком колес уплывают, уходят за горизонт дивные Азорские острова моей юности…

notes

Примечания

1

Известный учебник по арифметике.

2

Старинное, чуть ли не петровских времен строение на Старо-Конной (нынешняя площадь Ленина).